

АЛЕН БОСКЕ

Русская мать



im WERDEN VERLAG  
DALLAS AUGSBURG 2003

Ален Боске  
*Русская мать*  
Перевод с французского

Alain Bosquet  
*Une mère russe*

The book may not be copied in whole or in part.  
Commercial use of the book is strictly prohibited.  
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Éditions Grasset & Fasquelle, 1978

©«Текст», 1998

©Е. Л. Кассирова, перевод, 1998

©Н. Попова, послесловие, 1998

©«Im Werden Verlag», 2003

<http://www.imwerden.de>

[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon [books@tumana.net](mailto:books@tumana.net)

Generated by L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub>

*Писателю Борису Шрейберу,  
русскому по матери*

Берта Турянская родилась в 1889 году в Одессе, в семье еврея-коммерсанта, торговца кожами. В юности брала уроки игры на скрипке у Леопольда Ауэра, ученика Яши Хейфеца. Первое ее замужество оказалось неудачным, и в 1918 году, в самый разгар Гражданской войны, когда город занимали то красные, то белые, она вышла замуж второй раз за богатого хлыща, слюнтяя и немножко поэта, Александра Биска. Биск – потомок эльзасца и бельгийки, в середине XIX века прибывших в Малороссию строить железную дорогу.

Берте удалось спасти мужа от ГПУ. Тотчас они бежали из России – сперва в Болгарию, потом в Бельгию. В 1940 году бегство продолжилось – на юг Франции, а потом в Штаты, где г-н Биск, наскучив мирской суетой, занялся куплей-продажей редких почтовых марок. На старости лет Берта училась скульптуре у Архипенко, в остальное время была просто мужней женой и любящей матерью, в вечном ожидании сына, сей книги сочинителя. После трагической смерти мужа уехала доживать в Париж, где и умерла в 1977 году.

## Париж, октябрь 1976

*Кончина матери мне, сыну, облегченье.*

Этот стих, страшный и злой, сочинил я внезапно, уходя от тебя после глупой ссоры, когда нелепицы и бредни, вольные и невольные, сорвались с губ камнепадом. Было холодно, гулял ветер осенне-серый между палой листвой и облаками – пьяненькими коровами в небесной мути. Витрины на Гренель и на Сен-Доминик казались скучны и уродливы, как раздраженная перебранка сына с матерью. Сейчас, здесь, на мокрой улице, отколоть бы номер: украсть с лотка и раздавить ботинком апельсин, вялое яблочко, гнилой банан или купить безделушку, игрушку дрянную, куклу, какую любимому чаду дарить постыдишься, и на людях разорвать ее, вырвать пластмассовые кукольные глазки, вытрясти ватную требуху. И заодно надавать по морде всем прохожим, кто больше, чем я, слабак и старик: слабость – порок, а старость – смертный грех. И не прошу прощать меня, потому что прощенья мне нет, я был свинья, есть и буду, пожалуй, до моста Инвалидов. Зол на мать, на себя и теперь для полноты счастья – на Париж.

Я повторил свой стих и остался доволен: цезура на месте, слова звучны, а явный вызов и боль заденут хоть кого. И ничуть не литературно, думаю, а очень жизненно, потому что литература моя – и есть моя жизнь. И, едва сочинив, я проклял этот чертов стишок. Я попытался забыть его и запомнил окончательно. Сперва выкрикивал его в туманную даль, и резонировал он зло, глухо, фальшиво. Тогда я подскочил к первой встречной физиономии, мятой и пошлой: тетка лет пятидесяти, одета никак, ни рыба ни мясо, может, собесовская бухгалтерша, может, министерская вахтерша, глазки юркие, лоб выпуклый – словно перебарывает сильную робость. Я загородил тетке дорогу, помолчал три секунды и сказал, чеканя слова:

– *Кончина матери мне, сыну, облегченье.*

Тетка смутилась. Сейчас, думаю, пожмет плечами, покачает головой или погрозит пальцем. Я и сам смутился, и она, заметив это, резко обошла меня и ушла молча. Войдя во вкус, я решил повторить маневр. Страшное заклинание терзало и вызывало апокалиптические видения. Скорей высказать и выбросить, на кого угодно свалить с себя тяжкий груз! Навстречу спешил прохожий в дорогом пиджаке и шляпе, человек моих лет, усики аккуратные, походка изящная. Я пробормотал, тщетно силясь скрыть неловкость:

– Прошу прощенья. *Кончина матери. . .*

– Извините, мсье, мне некогда.

Он мягко, но уверенно коснулся меня, отстраняя. Я вконец растерялся. На той стороне стоял мальчонка лет пяти во взрослой кепке. Я перешел улицу и схватил малыша за плечо:

– *Кончина матери мне, сыну, облегченье.*

Он посмотрел на меня удивленно-весело и протянул мне цветную стекляшку. Я легонько дернул его за рукав толстой теплой курточки. Мальчик сказал просто и тихо:

– Хочешь мятную карамельку? Мама болела на той неделе. Но папа сказал, что мама не умрет.

Я немного успокоился. Слушать меня никто не желал. Значит, не отделаться мне от собственных опусов. Я снова проклял свое воображение и неистребимую тридцатилетнюю привычку превращать жизнь в слово. Зайти бы в кафе пропустить стаканчик, позвонить приятелю, выслушать его жалобы. Но, увы, от назойливого стишка спасу нет. Что есть, то есть: я сам себя наказал. Я обратился к фактам: ты – восьмидесятисемилетняя старуха, сдаешь не по дням, а по часам и, как пить дать, до весны не дотянешь. Я собрался с мыслями, а главное, с силами. Что делать? Не раскисать, крепиться, держаться с тобой строго и твердо. Воля и жесткость, жесткость и воля. И правильно я прежде решил: рассечь тебя на старую и новую и тайно признаться себе, что ту любил, а эту нет, что ты уже не похожа на мать и что ты мне не мать. Авось этак я легче перенесу твою смерть.

Я мудрствовал лукаво и чувствовал, что не выдержу, разрыдаюсь или еще что. Потому ускорил шаг и проговорил стишок озорно, нагло и малость насмешливо:

– *Кончина мамочки сыночку утешенье.*

Страдать на словах – не означает ли вызвать страдание на деле? И я перестал раздумывать, что хорошо и что плохо. Что добро, что зло – хрен редьки не слаще. На бульваре Капуцинок я остановился у нового кинематографа и вошел: дрянной фильм авось развлечет, верней, извлечет меня из себя.

После стишка ты прожила еще четыре месяца.

## Лом-Паланка, лето 1924

Вижу все очень ясно. Мы на Дунае, голубом, а еще зеленом, на болгарском берегу, в Лом-Паланке. Белые кораблики то веселы, то ироничны: дунут дымком сперва на киль и шлюпки, потом на деревья на пристани. Собираю гальку, гладкую, желтую, приятную на ощупь. Ты велишь оставить две-три, остальное бросить, не то порву карманы. Говоришь, что Дунай – река длинная, течет по разным странам, из них совсем новые Югославия с Чехословакией. Хочу запомнить оба названья. Повтори, еще раз повтори. Папе Александру я надоел больше, чем тебе. В мои четыре с половиной я ни то ни се – уже не игрушка, но еще не человек, не собеседник. Я не понимаю тебя, и вот папа решил сам подзаняться со мной новейшей историей. Была, мол, большая жестокая война, только что кончилась, враги, понимаешь, помирились, написали и подписали договор в Версале во Франции. Хороших наградили, плохих наказали. Королевства и империи распались на части, а части взяли и стали независимыми странами.

Ты засмеялась. Говоришь, что я скоро увижу эти страны, они очень красивые. Мол, поплыву я с папой на пароходе далеко-далеко и приплыву в славные города Будапешт и Вену. Со школой все будет в порядке. Буду жить у дедушки с бабушкой, они меня полюбят. Начну учиться, узнаю много нового и интересного, вырасту в культурной стране. Я слушаю вполуха, у меня дела поважней – мои камешки, а еще морская болезнь, о которой уже слышал. Ты успокаиваешь, говоришь, что на реках, даже на таких больших, никогда не укачивает. Папа вносит свою лепту и сообщает мне чудесных два слова «шторм» и «качка». Я в восторге, и папа добавляет к «качке» еще два слова: «бортовая» и «килевая». Несколько секунд я уверен, что навигация – мое призвание, и решаю пойти со временем в моряки. А ты наставляешь отца, как везти меня – тепло одевать и избегать сквозняков и невоспитанных детей. А еще велишь поцеловать в Брюсселе тестя с тещей – родителей ты не видела много лет. И твердишь папе, что будешь скучать по нему. Но, мол, плаванье пойдет ему на пользу, после недавней депрессии, говоришь, он оправится. Работает, устает, а к чужбине не привык. Пусть хоть утешится, что вывез ребенка, не страна, а черт-те что, и язык грубятина, а ребенку нужно образование. Дед с бабкой – люди со связями и, между прочим, с умом.

Пассажирского полку прибывает. Пора прощаться. Ты отходишь на минутку с отцом, и я снова принимаюсь за свои камешки. Приехали нарядные дяди, считают и считают чемоданы. Кучера благодарят. Слышу болгарские слова и обрывки разговоров по-русски и французски. Дяди в белых кителях и золотых галунах здороваются с пассажирами. Дамам говорят: «Осторожней». Можно застрять каблуком в досточках крутых сходней. Всюду болонки с пуделями, они рычат, на них ворчат. На верхней палубе оркестрик играет вальс. Ты кладешь руку отцу на пояс, он откидывает свою черную прядь, ты свою золотую. А я знаю, что иногда по утрам ты красишься перекисью. Вы целуетесь в губы, и я, как всегда, отвожу глаза

Скрипки словно сбесились и норовят под шумок выскользнуть из рук, визгливых, заломанных. Отец говорит тебе, профессиональной скрипачке, – представляю, как тебе эта музыка, а ты говоришь – чардаш не музыка. Я спрашиваю, что такое чардаш: выговариваю с трудом, но обещаю запомнить. Дяди играют тростями с набалдашниками и крутят соломенные шляпы, как циркачи тарелки. Тети в коротких юбках, на шляпках – вуальки-паутинки. Ты даешь нам с отцом наставления. Мне – не забывать ходить в одно место, чтоб непременно в одно и то же время, в здоровом теле здоровый дух. Отцу – поменьше думать, побольше жить и надеяться. «Все это ради тебя, деточка. Ничего не поделает, вырастешь, поймешь». Целуешь меня. Впечатленья, что хочешь мне сказать что-то нежное – и не можешь. И тогда я сам шепчу: «Мамочка, я тебя люблю», – то ли по привычке, то ли по необходимости. Отец твердит: второе бегство. Когда я родился, бежали из России. Когда подрос, бежим из Болгарии, а от добра добра не ищут. А ты ему: «Нет, ищут, нет, ищут... Боже ж мой, в Западной Европе ребенку и есть это самое добро».

На прощанье поручаю тебе камешки. Береги, как зеницу ока, вернешь, когда приедешь в наш чудный край. Обнимаешь меня крепко-крепко. Папа серьезный, кажется, даже хочет это показать. Снова заговорил о войне: напрасно раскурочили Австро-Венгрию; а Германия, какая-никакая, – родина Гете. Стараюсь запомнить новые названия. Прощаются-прощаются, никак не простятся. Звонок. Надо же, говорю, как на вокзале: позвонили – и отъезжающие сразу бегут по местам. А отец объясняет: пароходы – не поезда, на Дунае спешить им некуда, а вот на железке с расписанием шутки плохи. . . Пришли белые кители, ушли скрипачи. Заплясали моськи на поводке. Отец говорит тебе – не бросай скрипку, займись, пока нас нет, Лало, Дрдла и Шуман – замечательны. Да, говоришь, музыка – великое утешение. А мне, и строго, и нежно: «Чтоб непременно мне написал. . . Вот увидишь, бабуля научит тебя писать в два счета. А русский забудь. Лучший язык – французский». Пароход мне нравится, а дяди и тети нет: у одних страшные усы, у других – шляпки. На носу парохода с трудом разбираю слова: «Дер вайсе Донау». Отец говорит – написано по-немецки, означает «белый Дунай». Нарочно, мол. Потому что после Шумана все говорят «голубой Дунай», а Дунай то зеленый, то бурый. Но пароход – белый, а ежели этот белый – тоже «Дунай», стало быть, Дунай – тоже «белый». То ли я плохо понял, то ли отец плохо объяснил. В общем, раскисаю. А ты снова обняла и ободряешь: ничего, сыночка, спать будешь мягко, мягче, чем дома. Машу рукой и бросаю в воду последний камешек. Кажется, ты плачешь. Что ж, по детским понятиям – так и надо: ты именно та, какую буду помнить.

Эту сцену я всю жизнь оберегал от собственной желчи; может, потому невольно пересластил ее. На нее, далекую и туманную, любовался я полвека, и стала она для меня очей очарованьем. Вынужденно, видимо, из самозащиты я бываю агрессивен, но по натуре – порывист и порой вдруг становлюсь скептиком, потому решил запастись таким вот роликом семейной любви. И ни разу не правил и не резал чудное виденье. Все же при пересказе пришлось, увы, анализировать. Так какая же ты была в тот день на Дунае, беззаботно-веселом? Последние недели перед отъездом были не тихи и не безоблачны. Помню, ссорились вы с отцом. Ты тихонько плакала, а он, покричав, гордо умолкал и мучил тебя молчанием больше, чем криком. Дверь вдруг настезь, шляпа нахлобучена наспех, прочь из дому. Схвачен чемодан, в чемодан впопыхах швырк платья, пару туфель, зубную щетку, на столе на виду – заклеенное письмо, и тоже до ночи прочь из дому. Но за всеми жестами, показными и вороватыми, я угадываю драму.

А тебя снова, спустя месяцы и месяцы, потянуло на музыку. Ты стала играть на скрипке, даже покупала ноты, сэкономив пару-тройку медяков. Отец смотрел сквозь пальцы, знал, что выгадывала мелочишку на овощах и мясе. И конечно, понимал, что любви мужа и сына тебе



мало. Ты ходила на чай к другим русским эмигрантам-софийцам и заезжим французам. К нам никого не звала за убожеством обстановки. Знакомые твои подбивали тебя выступить. Ты выступала и публике человек в тридцать-сорок полчаса навевала прекрасной игрой золотое беззаботное прошлое. Заслуженным успехом ты по праву гордилась. А порой твои друзья, пожалев нашу бедность, скидывались и очень деликатно просили тебя купить мне ранец, игрушки, фуфайку или, может, хорошее пальто. Дары я принимал спокойно, а по робости отвечал неизменно – я не заслуживаю. Отец подачек не любил: работал переводчиком в болгарском отделении Парижского банка и нас вполне обеспечивал, а музыку считал не ремеслом, а искусством.

А может, не потому не любил он подачек? Ты хороша, жива, обаятельна. Роль внимательной матери отыграла на совесть. Я вырос, и ты теперь стала свободней, два-три часа, да твои. А дети есть дети: я тебе не помеха, но уже и не забава. Пожалуй, и любимого мужа ты не прочь сравнить с другими мужчинами – кто умней, кто обольстительней? Чем глубже роюсь в памяти в поисках вашей с отцом жизни в те годы, тем меньше, как выясняется, нахожу. Помню, когда ссорились, отец ругался, что безобразие – обливаться духами, тем более «Шанелью», а ты говорила, что «Шанель № 5» – признак хорошего тона. Особенно он ругал платья с большим вырезом, а еще – твою прическу, говорил, что кудряшку на виске порядочные женщины не носят. Ну а я на чьей стороне? Я застенчив, значит, по-моему, чаще на отца, чем на твою. И кажется, ты это видишь, хоть вслух не обсуждаешь. И порой замахнешься на мою хмурую рожицу, на мой взгляд в упор. Но спохватишься, наклонишься к чаду, обнимешь: мать есть мать. И мне ясно, что виноват, но помилован великой материнской любовью. Туманные воспоминания ненадежны: в тумане времен ты или исказил их, или, для видимости логики, домыслил. Один из домыслов частенько преследовал меня. Был у вас с отцом приятель-француз, большой говорун, любитель рассказать о своих похождениях. Соврет – недорого возьмет, но воздевает, как в мольбе, руки, заверяя, что все правда, или прищелкивает пальцами, мол, не грех и приврать для красного словца. Звали его Виктор, и он тебе явно нравился.

Раз или два в неделю Виктор заходил к нам. Перед ним ты не стыдилась наших двух с половиной комнатенок и с удовольствием говорила, к полному моему недоумению, что духовные ценности важнее материальных. Виктор обещал с гору – и платный концерт, и блат у банковского начальства, дескать, отец заслуживал большего. Меня смущали его рассказы, видимо, потому, что сам он немало меня не смущался: что я думаю о нем, ему было в высшей степени наплевать. Другом семьи Виктор побыл месяца три-четыре. Потом занял деньги у отца, мол, на важное дело. Деньги, как я полагал, огромные: шесть-семь сотен, по моим подсчетам, – как минимум пятнадцать билетов в кинематограф. Виктор пропал на месяц, и ты, между прочим, стала ко мне нежней, так что приятеля твоего я возненавидел пуще прежнего. Однажды за ужином отец сказал сухо и зло:

– Чтобы ноги его здесь больше не было.

Ты молчала, но суп глотала с явным трудом. Молчание в тебе, вспыльчивой и скорой на брань, казалось очень странным.

Несколько дней спустя меня разбудили ругань и крик. Вопреки обыкновению, я не побежал подслушивать под дверь, а накрыл голову подушкой. Наутро на лбу у тебя розовела царапина. Я понял, что отец ударил тебя, и, подумав только, пожалел не тебя, а его: как же он страдал, если дошел до такого! Кажется, впервые в жизни я сделал над собой усилие – подавил любопытство, ничего не сказал и ни о чем не спросил. Однако по крайней мере с неделю мучился и казнил, что бесчувствен к семейным бурям, пусть не мной вызванным. Отец стал дольше сидеть над переводами, а ты до ночи играла на скрипке. Вы и не ссорились, и не разговаривали: да, нет – и весь сказ. Я тоже занял позицию – сел меж двух стульев:

решил, что отца попрошу рассказать про средневековые и Византию, про Юлия Цезаря и русского царя Александра II, а тебя – про ноты и про то, чему когда-то в Одессе учил тебя Леопольд Ауэр. Таким образом – утешу и утишу вас обоих.

Претворить в жизнь свои решения я не успел. Однажды днем, когда отец был в банке, Виктор заявился к нам, ты бросилась ему на шею, он обнял тебя за талию. Ты строго командовала мне – из дому ни ногой, и ушла, ни слова более не сказав. Вернулась ты два часа спустя, счастливая и потрясенная. Вот-вот придет отец. Я чувствовал, ты боишься, что я проболтаюсь, но не можешь совладать с собой, истребовать с меня сочувствие или хотя бы молчание. Согласие меж мной и тобой дало трещину: мы оба сами по себе, и каждый, как быть, решает в одиночку. Ты бросила мой уютный мирок и ушла в большой чужой мир, мужской, враждебный и непонятный. Я страдал, я видел, что ты отдалилась, и сам бросился искать приюта на стороне: играл до одури с уличными пацанами, даже подступался к ребятам постарше. И с упорством, и с горечью высматривал родственную душу в чужой.

Жмурки и классики не дали мне досмотреть до конца семейную драму. Впоследствии, очень может быть, я и сам ее преувеличил и безмерно раздул, а другую, более для тебя важную, наоборот, проглядел. Был чересчур занят новыми делами, заботами и восторгами. В этом возрасте все принимаешь слишком всерьез, не видя собственной глупости. Ты-то в твои тридцать пять, напротив, начинала утихомириваться, рассуждать и даже отчасти притворяться. А во мне и вообще рассуждение всю жизнь воевало с воображеньем. Мыслил я мыслил – и растекался мыслью по древу. Словом, Виктор не вернулся, и семейная жизнь наладилась. Все же происшествие имело последствия. Ты убедила отца, что он не живет, а прозябает и что служба в банке – тупик. В Россию, сказала, все равно путь закрыт, красных не скинуть, белой армии больше нет. Отец не спорил: был тяжелодум и долго вникал в очевидность, а ты говорила веско и убедительно. Стало быть, если на России поставлен крест, остаются Эльзас и Бельгия, родные земли предков, брошенные семьдесят лет назад ради малороссийской железки.

Видно, ты одна и решила судьбу, то есть судьбы – свою, мою и отцову. Отец молчал, сказал, что подумает, и думал, даже ломал голову и по временам, явно взвешивая все «за» и «против», что-то ворчал. Казалось, ему намного трудней, чем тебе, сняться с места в поисках новой родины. Возможно, считал, а был он старше тебя на пять лет, что начинать все заново поздно. Противиться не противился, но хотел, чтобы отъезд сам собой перерос из возможности в необходимость. А ты торопила нас, и кто знает почему. Когда прощальная семейная идиллия на пароходе с красивыми дамами-господами и отважным на нестрашном, правда, а мирном и тихом Дунае капитаном прочно впечаталась в память, я понял, что не знаю – а была ли идиллия вообще? И так и не знал всю жизнь. Отец не тот человек был, чтоб расспрашивать его запросто. А от тебя правды я тем более не добился бы.

Пожалуй, эту пароходную сцену только по лени держал я за лубок супружеской и материнской любви. А как было на самом деле – отправляла ли ты мужа покорять Европу или сама отправлялась погулять с Виктором на две-три недельки на воле? Обеспечивала сыну европейское образование или себе самой, в разлуке с родней, свободу от любопытных глаз, да и от собственной совести и лишних треволнений тоже? В тот день в Лом-Паланке ты же сходила с ума от счастья! Наконец-то сама себе хозяйка, наконец одна с Виктором! А все твои разговоры, об отцовской карьере, о воспитании сына, как ни рассудительны, – всё для отвода глаз. Родная душа – потемки. И что сказать о твоём прошлом? Пришлось бы судить тебя, допрашивать с пристрастием, пытаться, пока не признаешься. А за неимением неопровержимых доказательств всякая была – сказка. Так что, дав на миг слабинку, я опомнился, устыдился, беру свои слова обратно и повторяю, с чего начал: конечно же, в 1924 году ты была верной женой и любящей матерью.

## Брюссель, 1933

- Ты должен быть первым в классе, ты же самый умный.
- Я буду, мама, буду. Но друзья. . .
- Твои дружки тебе в подметки не годятся.
- Они хорошие ребята, мама
- Да ну, остолопы!
- У меня прекрасные товарищи.
- Товарищи не товарищи, главное – отметки. Я горжусь тобой, и папа тоже, хотя он-то помалкивает.
- Одно только плохо: в математике я так себе, а в химии – полный тупица. . . Все надо зубрить. Если на экзамене хоть немного изменят вопрос, я пропал.
- Хочешь, найдем учителя?
- Не хочу. Почему ты вечно ругаешь школу?
- Потому что в жизни важна только семья. Нам троим надо держаться вместе и бороться. Защищаться от чужаков, разлучников наших.
- Но нельзя же защищаться от мира и от времени.
- Господи, что за фантазеры тебя окружают!
- Но надо же учиться жить среди людей.
- Живи среди нас с папой. Мы что, тебя не кормим, не поим?
- Но не век же мне с вами вековать!
- А чем мы для тебя плохи? Кто тебе что в уши надул?
- Просто мне хочется, чтобы ты иногда приглашала к нам пару моих приятелей. Я хочу не бороться, а дружить с ними.
- И думать не смей! Звать иностранцев! Скажут еще, что мы нищие, что у меня смешной акцент.
- Но ведь они мои друзья. . .
- Сегодня одни друзья, завтра другие. Пойдешь на будущий год в четвертый класс, посмотрим. . .
- Разреши хоть в кино с ними сходить.
- Еще чего! Эти походы до добра не доведут. Сначала кино, потом папиросы, потом ба-рышни.
- Вот я и говорю – позови друзей к нам на чай.
- Хочешь сказать, что тебе нас с папой мало?
- Но мальчики в моем возрасте. . .
- В твоем возрасте мальчики должны слушаться взрослых.
- Тогда я попрошу папу.

- Папу оставь в покое. Папа работает, у него и без тебя забот полон рот,
- Зануды вы.
- Что за выраженья! Скажи еще, что изверги! Тебе что, плохо живется? Ты же знаешь, что ты для нас – все, ты нам свет в окошке!
- Но позвать моих друзей все же не мешает.
- Я подумаю.
- Что тут думать, дураку ясно!
- Что ж, я дура, по-твоему? Ах, я дура? Ну, знаешь, это уж слишком.
- Леклерк славный малый, вот увидишь, и Лифшиц тоже, он читает Спинозу, Бергсона. И Кьеркегора читает.
- Ах, читает!
- А что же еще должен делать отличник?
- Читать, но не такое! Это не по программе.
- А надо непременно по программе?
- У тебя на все есть ответ! Ну тебя совсем. Дай поцелую.
- Сперва скажи, когда позовешь Леклерка и Лифшица.
- Через месяц.
- Нет, через три дня, в субботу.
- В субботу у нас госпожа Мельц.
- Фу, от нее воняет.
- Она же хромая, бедняжка.
- А если хромая, значит, надо мыться раз в год? Или даже раз в четыре?
- Скажи, у тебя желудок как работает?
- Тебе мой желудок важнее меня?
- Просто ты от него зависишь. Когда не следишь за ним, становишься злым.
- Да что ты нашла в этой Мельцихе?
- Бедняжка очень страдала. Говорит, выбросилась из окна из-за одного негодяя.
- В таких случаях лучше выслушать обоих. Может, она сама негодяйка.
- Она любит музыку.
- И жила в России, вот вы вместе и льете слезы.
- Ступай-ка займись уроками. Тебе лучше читать, чем глупости говорить.
- Я не глупости говорю, я прошу. Так позовешь в субботу Лифшица с Леклерком или нет?
- Сыночка, ты из меня просто веревки выешь.
- Тоже мне, веревки!
- Нет, этот твой переходный возраст – сущее наказание! Переходит, переходит, никак не перейдет. . .
- Ты увидишь, Лифшиц очень умный.
- А вот твоя бабушка говорила: «Умный, да не разумный». А про сердце вам в школе не говорят? Господи, убьют в тебе русскую душу!
- Твоя русская душа – безалаберщина, и больше ничего.
- Ах, сыночка. . .
- А ты чуть что, сразу в слезы.
- Я никогда не плачу.
- Да неужели?
- Все равно это не повод для насмешек. В каком классе твой Лифшиц?
- В третьем.

– Значит, он старше тебя на год? Скоро начнет тобой помыкать. У старших с младшими всегда так. Что ты с него имеешь?

– Ничего, просто дружбу.

– Ты дружбу, а он службу, чтобы похвалиться рабом.

– Он дал мне Тацита и Рейсбрука.

– Поговори о нем с отцом. Посмотрим, что он скажет.

– Ты сама знаешь что: что всякий волен сам выбирать себе друзей. Отец мне ничего не запрещает, говорит, что любой опыт имеет значение, даже заурядный.

– Скажи лучше – отец не интересуется тобой.

– Интересуется, просто не сходит с ума.

– А твой Леклерк. Что еще за клерк-шмерк? Он, наверно, сын конторщика?

– Ученого он сын.

– Тогда другое дело: блат в университете тебе пригодится.

– Значит, мне надо дружить ради блата? Да ни за что на свете!

– Видишь ли, все не так просто. Почему, по-твоему, отец работает день и ночь, а жить нам все трудней и трудней?

– Значит, велишь дружить с Леклерком, кем бы он ни был?

– Ты же все равно якшаешься с ним, пусть уж приходит. Ну а по каким предметам он отличник?

– По латыни и греческому.

– И кому нужна эта мертвечина? Западные дураки, ничему их не научили русские дела!

– Так, значит, в субботу?

– А как же госпожа Мельц?

– Ничего, отменишь. Купи ей одеколон. Авось поймет намек.

– Хочешь навязать мне своих сопливых умников, на которых смотришь разинув рот? Да у них просто есть время на чтение.

– Ничего подобного. Просто я не хочу дружить на стороне. Хочу вас познакомить. Это и есть любить родителей.

– Сыночка, да ты у меня хитрец! Давай-ка лучше посмеемся, как раньше. Помнишь, как мы с тобой придумывали слова, а отец не понимал и злился?

– Гладивадис и партадез.

– Куступуфум балаколас стравидом.

– Мистим фалатита.

– Стидиримик варакидил.

– Это на старотурецком.

– Нет, на греко-ирландском.

– Нет, на марсианском в сослагательном наклонении.

– Вот видишь, я права: с тобой не поговоришь.

– Конечно, я же веревки из тебя вью.

– Ладно, дурачок, не вьешь. Конечно, мне нужно посмотреть на твоих Леклерка с Лифшицом. И ты молодец, сыночка, что приведешь их. . .

– Так надо!

– И хорошо, что надо.

– Ладно, сказала «а», говори и «б».

– Что за «б» такое?

– Кино два раза в неделю.

– Хватит и одного.

- А я буду лучше учиться.
- Ты и так учишься прекрасно.
- А могу ужасно.
- Ну что ты за балаболка!
- Кино укрепляет дух. И освежает мозги. Сама на днях говорила.
- Но у папы неважно с деньгами.
- А мы ему не скажем.
- Придется экономить на еде.
- Подумаешь, одной луковкой меньше! Я, кстати, твой лук терпеть не могу. Ты его совсем не умеешь готовить. Его надо ошпаривать кипятком.
- Уговорил, сыночка.
- А нельзя Мельциху пореже звать?
- У тебя совсем нет сердца, сыночка.
- Она оскорбляет мое понятие о красоте.
- Конечно, она не Венера Милосская. Что нет, то нет.
- И на что она тебе сдалась?
- А уж это мое дело, а не твое.
- Вот именно, не мое. Она толстуха и уродина. И еще вонючка.
- А я знаю одну песенку.
- Паратакампум стакатасис вальвирон платап-латакус.
- Мистибальдо.
- Мукмуму.
- Викуч. . . Будешь хорошим мальчиком?
- Это другой вопрос. Не по хорошу мил.
- Сыночка ты мой!

## Брюссель, 1938

Ты всегда меня подбадривала в моих амурных делах, при условии, что поматрошу и брошу. Ты охотно уступала меня барышням – займы, на время, на краткое увлечение. Нюх у тебя был отменный на все мои романы: что опасно, что нет, учувала верно. Если прошло два месяца, а я не остыл, значит, моя подружка – твой враг номер один. Борьбу ты начинала намеками. Не давила, не приставала грубо, дескать, познакомь, а изображала легкое, законное любопытство и как бы звала излить душу. Если в моих влюбленных откровеньях – только пикантность, скажем, пышный зад или ахи-охи, какие свели б с ума и бывалого селадона, – ты успокоишься: влюблен не в душу, а в тело. Бог вещь, что нужней. Зато если рассказы мои скучны и чисты, если хвалю барышнин ум, характер, манеры, загадочные улыбку и взгляд, изящные головку и ножку – забеспокоишься, но и тут не очень: решишь, мол, выговорился, и ладно, дойдет до дела, то есть тела, сыночка угомонится. А настоящую тревогу бьешь, когда я строю планы. Стоит мне сказать: «В эту зиму хорошо бы свозить ее на недельку погулять по снегу» или «Не так уж я ее и хочу. Просто с ней приятно проводить время. Мир сразу становится таким прекрасным. И впечатление, что почему-то остановилось время» – вот тут ты в панике. И тотчас засыплешь вопросами, дескать, кто такая, откуда, кто отец с матерью, что за семья, есть ли дом, како веруют, словно показываешь; барышня, может, и пусть, да семейка ее тебе ни к чему. Словом, мое волнение – твой мир и покой, а мои мир и покой – твое волнение.

Как быть с девицей Мари-Жанн Фло, ты не знала. Я ужасно расстроился, что к моему роману с ней ты отнеслась вяло и холодно. Правда, я и сам в тот год особенно воевал с вами и вашим пониманием, а по-моему, непониманием, проблемы отцов и детей. Только что я закончил школу. Вы прочили меня в дельцы, а я любил литературу. Латыни и греческого не знал, помнил лишь бессвязные отрывки из программы пятого не то шестого класса. В семнадцать лет я бредил культурой вообще, обожал историю с большой буквы, завел себе идолов, боготворил Бетховена, Рубенса, Макиавелли, Ганнибала, Рембо и двух-трех молодых поэтов – Сюпервьеля, Элюара. А тебе до них дела не было, и твое на них наплевательство меня злило. И я решил, что отныне родство наше не по духу, а по крови, и разговор не по душам, а по верхам, как здоровье, как погода, – и только. О чем с тобой, такой глупой, говорить?

С отцом дело обстояло не лучше, если не хуже: он вообще был ходячее безразличие, вдобавок ворчлив. Всей и беседы – скажет, мол, сам толком не знаешь, чего хочешь, и несколько раз произнесет глубокомысленно: «Каждому свое». Наверно, считал: взрослый парень, сам за себя в ответе и должен понять, что детство давно в прошлом. Думал, наверно: мои витания в облаках, скорее всего, оттого, что живу, как у Христа за пазухой, а столкнись я с действительностью, то узнаю, почем фунт лиха, во всяком случае, спущусь с неба на землю. Ну а

я раздражался, ершился, взбрыкивал, считал, что даром потратил шесть лет на зубрежку в лицее. Друзей я терял одного за другим. Понесся в заоблачные выси – благо экзамены с их уздой позади. А экзамен на самостоятельность я сдать не мог – не был приучен ни смиряться, ни, напротив, сопротивляться. За душой ничего, кроме порывов, притом противоречивых. Зато упрямства – хоть отбавляй, и решил я, что убеждениями не поступлюсь. Богатство ненавижу и дешевого успеха не желаю. Торговля, деньги, дело, нажива отвратительны. Мои ценности – иные. Я стану философом, историком или писателем! Вот только кем именно, еще не решил. Надо сперва найти среду и людей. А Брюссель, судя по всему, болото: тут не разгуляешься и в ногу со временем не пойдешь. Леклерк, человек уравновешенный, умерял мои порывы: надо еще подумать, понять, к чему именно стремлюсь, облечь неявные мечты явной плотью. А Лифшиц, наоборот, раззадоривал, считал, что лететь надо не иначе как к солнцу, хоть бы и с риском спалить крылышки. Для Лифшица избыток был нормой. Чем больше рискуешь умереть, уверял он, тем интересней живешь и сильнее ощущаешь абсолютное начало. Это абсолютное начало он обсуждал со страстью, но определить затруднялся.

Словно свет сошелся клином на моих проблемах. Нет, скорее, пожалуй, от праздности моей явились все эти завихренья, устремленья и чаянья, которые толком я не мог выразить. Я стал комком нервов. Сел на кофе. Пил очень крепкий, чашку за чашкой. Журналы читал без разбору и правые, и левые. В голове была каша: возмущен убийством канцлера Дольфуса и восхищен эсэсовцами, бросившими кровавый и изумительно зверский вызов дряхлой кумушке Европе. Я рвался в Испанию, жаждал сражаться в рядах республиканцев во имя спасенья культуры и достоинства личности, но и тянулся, из жажды разрушенья, к Франко. Делать, что угодно, лишь бы действовать. Я порхал и кружил, и колыхался, как огородное пугало, и страдал, как пугало, потому что прикован к крестовине и не в силах воспарить. Я пел, а через миг плакал, и ты, наблюдая и не понимая, с чего вдруг такие смены настроения, говорила, что у меня плохо работает желудок, малокровие и не очень крепкое здоровье, вот в чем дело, хоть, правда, врач успокаивал тебя – дескать, с возрастом пройдет. Больной желудок – говорила ты, ведать не ведая про больное воображение.

Были у меня кумиры – ими я бредил. Моего Рубенса ты терпела, хотя сама не боготворила и вообще искусство изобразительное великим и важным для жизни не считала, потому что жизнь – не в музеях, и малевать героев – не значит жить среди людей. И вообще, говорила, эти горы мяса – чистая показуха и похвальба, мол, глядите, какие мы богатыри, тоже мне, спортсмен выискался, на что мне его рекорды, Христос у него забияка, как запорожский казак. А вот композиторам моим ты радовалась, сама обожала романтиков, Берлиоза, Шумана и, разумеется, Бетховена. Рассказывала, что в Одесской консерватории, накануне войны, в пору твоей учебы в 1912 – 1913 годах, ему молились, как Богу. И очень сердилась, что я не люблю русской музыки:

– Как мало в тебе русского духа, сыночка! Ах, что за гений, Чайковский! А ведь все так просто. Ты меня поймешь, если его поймешь. Тут весь русский человек, какой он есть – мечтатель и горемыка.

– Скажи лучше – мямля и пьяница.

– Вот поумнеешь, поймешь. Станешь мягче, узнаешь, что такое вздох, что такое трепет.

– Сладенький кисель.

– Подумаешь, твой Ганнибал! Тоже, Аника-воин!

– Мой Аника-воин потряс весь цивилизованный мир, чуть было не покорил его, и разбили его случайно.

– Ну, не знаю, сыночка. Времена меняются, вкусы тоже. Мы в молодости ценили красоту и счастье. А теперь впечатленье, что все рушится.



– Старики всегда так говорят.

Мы с тобой без конца задирались, то дружески-весело, то враждебно-злобно. Тебя наше несогласие огорчало, меня радовало, потому что отделяло и отдаляло от вас с отцом, от моих, так сказать, психологических корней. Но в одном ты оставалась на высоте: соглашалась – да, дескать, может, и есть молодые талантливые писатели, читанные тобой, сыночка, и не читанные мной. Говорила, что в каждом поколении есть свои таланты и спорить, кто лучше, глупо. Здравый смысл тем самым оправдывал лень: не судишь меня за любовь к новой литературе – сама не судима будешь за невежество. Признанных уже гениев ты хвалила общо и расплывчато, готовыми фразами, а о новых, неведомых, каких я тебе декламировал, помалкивала, разводя руками, хотя в общем-то про себя считала их пройдохами, пройдами, халифами на час. И я, пока не повзрослел, все вел с тобой дурацкие споры на потеху Леклерку с Лифшицем: Леклерк легонько, не без иронии, поучал, Лифшиц резко и грубо долбил.

– Зачем спорить, только время терять, – говорил Леклерк. – Имей свое мнение и ни на кого не оглядывайся. Скажи своим, как думаешь, как веруешь, и дело с концом. Не спрашивай разрешения: поставь перед фактом. А мамаша есть мамаша. Вечная наседка. Твоя, слава Богу, хоть умная.

Лифшиц говорил то же, но пылко и яростно:

– Мы в ответе за самих себя – какие есть! История требует! Разумеется, ответственность – это ново. Почитай немецких философов. В одной личности намешана куча всего. Думаешь, ты определен и установлен раз и навсегда? По-твоему, ты – именно то или именно это? А может, ты станешь, как дед твой, сапожником, а может, бродягой, а может, депутатом? Время тут само химичит. Так что просто будь готов и спустись с неба на землю. Только так и увидишь все ясно. Ты дерьмо и понимай это. Самое верное дело! Только так и станешь дерьмом приличным. Другие тебя не сделают, только заедят. А отец и, главное, мамаша – хищные твари, и больше ничего! Думают, что любовь дает им права! От матери отрывайся, пока молод: больно, но еще не смертельно. Или же. . . да где тебе. . . или уходи жить отдельно.

Семена дали всходы. Однажды, ничего тебе не сказав, я пошел к отцу. Объяснил ему, что в школе учился хоть и хорошо, но не тому и что хочу на будущий год поступить на романское отделение филфака Брюссельского университета. Год буду заниматься с преподавателем латынью и греческим, вкалывать как следует. Да, я понимаю, это требует дополнительных средств. Но призвание мое не в том, к чему меня готовили. Так неужели губить свою жизнь? Двадцати минут убеждений хватило. Отец, ни осудив, ни одоблив, согласился: не захотел даже предостеречь от мальчишеской горячности. Он был великолепен, хотя малость вял, Я тут же еще нажал, объявил, что нуждаюсь в уединении, должен жить отдельно, и лучше всего – найти жилье возле университета, скромный угол трудов и вдохновения. Отец внимательно выслушал и сказал, что тридцать лет назад он тоже ездил по европейским университетам в поисках свободы, по крайней мере, внутренней. Не успел я обрадоваться, как он добавил, что его собственный отец был богат, а он сам – нет. Ложка дегтя в бочку меда: в новой моей жизни будет, значит, мало удовольствий. Благодарить, сказал отец, его не за что, живи теперь своим умом.

Для тебя наше решение стало трагедией. Решили – тебя не спросили, поставили сразу перед фактом, на душу твою наплевали, устроили заговор, чтобы разлучить мать с сыном, и не взяли тебя в посредницы, советчицы, устроительницы, рабыни в конце концов. Ты мне, стало быть, не нужна, а благоверный твой пошел у меня на поводу. А я, разумеется, без шантажа не обошелся, даже не дал отцу двадцать четыре часа на размышление или хоть на совет с тобой. Ты осталась у разбитого корыта; униженная и оскорбленная; старуха прежде времени. Я утешал тебя как мог, клялся, что буду приходить через день, кстати, и университет

в двух шагах от дома. Но, увы, как ни старался, не утешил. Ты отменила ближайшие чаи с Мельчихой, вернула билеты на концерты, стала клясть Леклерка с Лифшицем: дескать, это чертовы выродки, я пляшу под их дудку и готов на любой бунт. Припомнила таких же негодяев Сталина с Гитлером. Объявила, что отец – тряпка и работа ему важнее, чем святая святых – семья. Хозяйство ты запустила вовсе. Отец, в поисках собственного покоя, отправил тебя на три недели подлечиться в Виши, хотя подлечивать было нечего. Так что подлечила ты не здоровье, а злость: вернулась сухой, трезвой, безжалостной. Думала: мы с отцом одним миром мазаны. Отец – предатель, перебежал тебе дорогу, твою любовь у сыночки отнял, а свою всучил. И я тоже хорош: изменник, излил душу не ей, а ему, и за это нате вам, пожалуйте, живи, деточка, где хочешь, да разве ребенок может жить один?

Прежде ты произносила целые речи, а теперь как води в рот набрала, даже не читала свою газету. Сидела и молчала, демонстрируя полную безучастность, давала понять, как оскорблена. Но я не изверг и милостив к павшим. Позвал тебя в Суаньи прогуляться по лесу, предложил съездить вдвоем к морю зимой: в Кок или, хочешь, в Остенде. Даже не пошел на пирушку к приятелям, чтобы просто молча посидеть с тобой. Но ты мне – ни ответа, ни привета. Показывала, что обижена смертельно. Я чуть было не пошел на попятный. Прав Лифшиц: все мамыши – хищные твари. Месяц холода и молчания – и я готов был сдаться. Откуда, стало быть, ушел, туда и пришел. То есть снова я – самый простой обыватель, не в силах оборвать корни, хотя искренний, непосредственный, живой и в общем-то вспыльчивый как ты, то есть тоже жертва всяких разных горьких правд. Твое ледяное молчание поначалу сбilo меня с толку, как-то одурило, одурманило.

С Мари-Жанн Фло я познакомился на танцах. Слоу я танцевал старательно, а танго с душой. В полутемном для пущего интима зале было человек пятьдесят-шестьдесят молодежи, в основном школьники-выпускники, как и я. Иные даже пришли с принаряженными мамашами. Я прикинулся пай-мальчиком и с позволения одной почтенной мамы пригласил дочку, девицу в белом платьице с ярко-синим бантиком на поясе. Любил я, правда, в ту пору женщин лет тридцати: время на глупости они не теряли, были очень осторожны и не боялись забеременеть или заразиться. Девиц, своих ровесниц, жаловал меньше, но тоже не пропускал, стараясь и тут урвать свое. Кроме того, в их неловкости – лишняя прелесть. Раздражали только вздохи и обращенные горе взоры. В белом платьице оказалась ничего. Тело не худое, но тонкое, а грудки упругие, в моем вкусе. Двигалась в платьице прелестно, тюль и кружево порхали, а жесткий бантик торчал неподвижно – то, что надо. Но покорила меня, видимо, не тюль, или бантик, или слова, а общий дух: точно юное хрупкое деревце в бурю, теряющее на ветру лепестки один за другим. С первого танца я держал ее за подмышки. Интересно, она их бреет или выщипывает? Я ее так прямо и спросил, даже сам себе удивился. Она не обиделась. Сказала, что скажет на следующий танец: приглашай, мол, снова. Снова, минутой спустя, я наслаждался кожей между тюлем и кружевом, ощущая легкую на ней испарину. И странное дело, влага эта у меня самого вызывала слюну. Одежда наша неожиданно заколыхалась в такт. О своих наблюдениях я поставил партнершу в известность. А вот свое имя, фамилию, возраст и прочее не сообщил. Но долго на таком не продержишься. Довольно все-таки странно: разглядывать друг друга в упор, обниматься, щупаться – и разойтись по углам, не назвав себя. Возник новый обмен репликами: мы представились по всей форме, даже попили лимонаду с барышниной мамой, подплывшей к нам, понятное дело, проконтролировать дочкины реверансы и убедиться, что ее голубка-богиня-красавица мечет бисер не перед свиньями.

Остаток вечера я оттанцевал образцово и добросовестно, однако на совесть обработал и платье от сосков до лобка. Самой Мари-Жанн я предложил быть моей и дал ей на размышление сорок восемь часов. Она сказала, что сорок восемь – много, она старше меня на

целый год и не может транжирить время. Тогда я всмотрелся ей в лицо, потому что, пока вертелся и прыгал, забыл его. Оно оказалось узенькое, мелкое, но неукротимо-страстное. Я тотчас сказал себе: Мари-Жанн прекрасный противовес моим новым амбициям и кульбитам, любовные глупости отвлекут от других, куда худших. Я выложил все это партнерше, она не обиделась. Решила, вероятно, что в постели переменюсь: в утренней мягкости и мускульной вялости превращусь потихоньку из циника в лирика. Через день я, как и задумал, привел ее в свою студенческую берлогу, вмещавшую стол, стул, радиоприемник, раковину, зеркало, шкаф и койку. В любви она оказалась хороша, как в танцах: ловка и без лишних ахов-охов. Притом всегда была для меня свободна, а на мое свободное время не зарилась. Стало быть, длиться все это могло, пока не надоест – то есть добрых полгода.

Я решил, что хватит тебе перемалывать обиду. И стал, отвлекая, рассказывать о своем новом романе. Но ты слушала вполуха и не ревновала, как бывало, когда боялась соперницы, и вообще не откликалась на мой рассказ. Но я должен был вернуть тебя в чувство. Не свинья же я неблагодарная, вопреки твоим увереньям. Однажды вечером, когда отец ушел на какую-то деловую встречу, я позвал к нам Мари-Жанн. Ты была вежлива и равнодушна, и я вдруг испугался. Неужели моя жизнь потеряла для тебя всякий интерес? А это палка о двух концах: без твоей опеки и власти мне свободно, но как-то скучно. Хорошо, когда вами не помыкают, но плохо, когда не интересуются. Неужели последнее слово теперь за Мари-Жанн? Неужели ей одной достался я весь целиком? Так дело не пойдет. Так или иначе, необходимо срочно действовать. Я просил тебя пригласить к нам ее мать. Ты пригласила и беседовала с ней спокойно и ровно. Особых тем для беседы не было. Обсудили погоду, политическое положение и ох-уж-эту-молодежь. Надеюсь, вам все же захочется посудачить о нас с Мари-Жанн. Наверняка ведь – кумушек-бездельниц хлебом не корми, дай только сватать и строить воздушные замки.

Но дело у тебя было другое, вполне личное. Твои приятельницы из русско-эмигрантской компании забивали тебе голову ностальгическими грезами и не давали жить наяву. Одни вздыхали о подвигах Деникина-Врангеля-Колчака, другие проклинали Ленина-Троцкого и ругали идиотов, толкнувших империю к гибели. И г-жа Фло явилась тебе глотком свежего воздуха – западного. Фло не читала ни Пушкина, ни Чехова, так что ты надеялась освежиться ею, может, даже иначе взглянуть на мир. Обменялись вы с ней комплиментами, безделушками-финтифлюшками, книксенами-шмиксенами, пресной болтовней. Новая подружка-европейка не умней, разумеется, старых – эмигранток, но, говоря с тобой, по крайней мере, не душит похвалами и проклятьями прошлому. И главное, не ведет с тобой культурных разговоров – все равно, ты говорила, высосаны из пальца, и к тому же по верхам и вранье, потому что, в самом деле, чем Гюго хуже Лермонтова, а Франк и Сен-Санс – Бородина и Мусоргского? Так что, разумеется, в комплиментах взхлеб вы о своих детках могли и не вспомнить.

С подружкой моей ты не воевала, наоборот, даже была робка – то ли устала, то ли хотела угодить мамаше Фло. Новые, непривычные сдержанность и прохладца сделали тебя, на мой взгляд, совершенно комильфотной. Вдобавок подействовали они и на меня. Прошел месяц, я и сам поостыл к Мари-Жанн. Не воду же мне пить с ее лица. А больше питаться было нечем: в тебе к ней ни ревности, ни ненависти. Скука переросла в ссору, слезы вызвали злость. И на что, думаю, мне барышня Фло? Кажется, из-за нее ты меня даже слегка разлюбила. Потом злость к подружке остыла, но осталась. Вскоре я стал говорить Мари-Жанн, что должен заниматься и вообще мне некогда. Увиливал и не угрызался, так что, вздумай подруга моя искать утешения на стороне, сказал бы – на здоровье. Для драм я не созрел. Ко взаимному согласию встречи стали редки, а ласки очень скоро – вялы и вымученны. Но навек я остался Мари-Жаннин неоплатный должник: она научила меня играть в покер! Потом, когда при-

ходило выбирать в больших вещах, в политике – левизну-правизну, ожидание войны или мира, бунт или благонадежность, в искусстве – красоту или пользу, в жизни – слово или дело, идеализм-прагматизм, я, сомневаясь день и ночь, возможно, невольно оглядывался на тебя и кидался из крайности в крайность. Было у меня семь пятниц на неделе и никогда – постепенности и продуманности решения. Чувство во мне заменяло мысль, порыв – логику. И я терялся, решая, быть или не быть, и по неспособности сдавался окончательно. И вот тогда частенько, примостившись к грязному столику, вверял судьбу-индейку тузу треф или девятке бубей.

С мамашей Фло ты подружила все же дольше, чем я с дочкой. Это твое увлечение мне стало ясно не сразу. А все просто: муж предпочел тебе службу и от твоих порывов уклонялся, сын взбрыкивал и не отзывался на любовь и нежность, подруги только и знали, что хныкать и ностальгировать. Последняя твоя соломинка – новый человек. Ты жаждала вникнуть в незнакомое, в потемки чужой души, однако в мамаше Фло особых потемок не оказалось. За полгода ты разглядела все. Последний обмен печеньем, помадой, кремом от морщин – и до свидания. И ты наконец объявила амнистию: побежала к русским патриоткам, навестила и обласкала Мельциху.

Однажды, пока я сидел на лекциях, ты взяла у консьержки ключ и навела порядок в моей берлоге. Я вошел и увидел: новые сиреневые, даже слишком, занавески. Вместо грубых простынь дорогие льняные. Шесть розочек расставлены в вазочках, для меньшей пышности по отдельности. В шкафчике – годовой запас одеколona и пены для бритья плюс склянки с витаминами. На подушке белел конверт. В нем – две двухсотфранковые купюры и записка: «Счастья тебе, сыночка». Дары означали, что я прощен и что разрыв с Мари-Жанн Фло позволен. И намекали, что новые мои победы заранее одобрены: главное идти вширь, а не вглубь. Дарам я, однако, радовался не безумно. Моя цель – знанья, литература, может, политика и, конечно – слава; счастье же – не дело, а вздор и в планы мои не входит. Еще день – и ты стала сама собой и заявила мне, как ни в чем не бывало:

- Одного я не могу тебе простить: твоей любви к Макиавелли. Злой он человек.
- А на добре, мама, далеко не уедешь.

## Берлин, октябрь 1945

«Дорогие мама и папа,

С 10 мая 40-го я сменил три мундира и считаю, что побывал на войне, которая не хуже и не лучше других. Выбора особого не было. Все же удалось добиться, чтобы американцы, а потом англичане послали меня в специальные школы, где я научился разбираться в военном деле и самих военных. Мои медали – непонятно за что. Просто оказался в нужном месте в нужное время. Кто угодно сделал бы то же самое. Правда, кое-какие мои обязанности в Лондоне, Версале и потом в Берлине в Генштабе дали мне и права. Учиться я не закончил, и первой мыслью было броситься к вам в Нью-Йорк доучиваться. Пока все же отложил: войска спешно уходят, вакансий свободных полно, кто останется, пойдет в гору; требуется управлять Германией и учить ее демократии. Предлагают хороший оклад и прекрасную, на мой вкус, работу для офицера: обеспечение связи между четырьмя странами-победительницами. Буду работать в Контрольном Совете под началом своего друга, моя задача – координировать действия союзных держав: Чехословакии, Дании, Южной Африки и других стран, включая Бразилию, при соблюдении интересов всех и каждого. Другая задача – наблюдать в числе прочих инженеров за демонтажем военных заводов и, главное, за репатриацией миллионов людей.

Война натешилась мной вслепую, но вдоволь. Сперва потерпел поражение вместе с бельгийцами, через две недели – с французами. Что было в 41-м и 42-м, сами знаете: неуверенность, а пуще того – невозможность располагать собой измучила меня. Победа разбила и доконала меня хуже поражения. Состояние побежденного, скрашенное разве что красной линией фронта, смещавшейся потихоньку вперед. Действительно, было радостное чувство всеобщего освобождения, а, увы, не личной свободы. Работу выбирал себе не я. Теперь, кажется, все изменилось: победитель – как и подобает ему – получает право решать и действовать. В двадцать шесть лет – давно пора. Можете, кстати, посмеяться: я получаю особняк и машину с шофером. Каково, а? Вдобавок придется мне подзаняться русским: кроме мамы, дома говорить по-русски по-настоящему мне было не с кем. Заодно подучу немецкий.

Поначалу я причислен к военному министерству, затем перейду в веденье МИ-Да, хотя у чиновников Совета особый статус с поочередным месячным подчинением четверем шефам, причем один из них – советский. Анекдот! Заранее смеюсь, представив, как мама с ужасом скажет: нет, вы подумайте, какое предательство – работать с большевиками! Да, с русскими. Начинаем строить что-то, и я намерен

отдать этому все силы – на сей раз не вслепую, а вполне сознательно. И почему бы после войны не срубить мне наконец дерево по себе? К немцам, даже когда воевал с ними, у меня никогда не было ненависти. Теперь они заново создают страну. Выгадать от этого должны, во-первых, мы, по праву, как победители, и, во-вторых, они сами, потому что вполне способны научиться демократии: для них это вопрос жизни и смерти.

Пишу вам о том, что думаю, без утайки. Посылаю несколько снимков зелендорфского особняка, где живу. Развалины отсюда далеко. Деревья хороши, газон ухожен. Может, удастся вырваться к вам в Нью-Йорк, порадоваться на вас. В сентябре 43-го, когда отбывал в Европу и прощался с вами, радости не было. Это и понятно: все могло случиться. Нас отплывало несколько тысяч солдат. Корабль атаковали немецкие подлодки, мы чуть не утонули. Еле доплыли до Северной Ирландии, на корабле сплошной стон и крик – раненые да еще в пути всякие неприятности. Лучше не вспоминать. Теперь вот хочу не упустить возможность принять назначение и немедленно приступить к работе. Дело интересное и нужное. Где-то через полгода смогу приехать к вам повидаться.

Хотелось бы, конечно, знать ваше мнение тоже. Если папа считает, что надо завязать с Европой, хоть, правда, европейцем я был всегда, и возвращаться в Америку, я все переиграю. Но, если честно, к американской жизни душа у меня не лежит. Будущее мое здесь, на развалинах, вернее, на огромной стройке. Я молод, наконец-то самостоятелен, и лучше поздно, чем никогда. Впервые со школьных лет знаю, чего хочу. Обнимаю и целую вас нежно-нежно».

Письмо я отправил, не перечитав. Боялся слишком раздумывать о том, как ты примешь его: как перенесешь новый разрыв со мной – на сей раз человеком самостоятельным и свободным. Я сделал решительный шаг и не хотел увязать в сомнениях и угрызаться понапрасну. Три дороги я видел на распутье: остаться маменькиным сыночком и со временем стать утешителем ее вместо папочки, что с точки зрения логики вполне оправданно и безопасно; посвятить себя литературе всецело без остатка; или же внести свой вклад в будущее Европы, доведя Германию до ума старым, но верным способом. Я не бахвалился: просто зашорил глаза орденскими планками. Я и так открыт и распахнут всему, а в прошлом еще больше открывался и распахивался, в основном глупостям разного рода, был готов нестись туда, куда ветер дует. И ты в тот момент ничего не значила. Что хочу, то и ворочу, тебя не спрошу.

Десять дней спустя получил от тебя письмо, написанное, как показалось мне, в приливе того самого безудержного чистосердечья, какое вдалеке от тебя я ненавидел и даже осуждал. Писала ты как курица лапой, на сей раз даже хуже – буквы вкривь и вкось, согласные и гласные – сплошные крестики-нолики:

«Сыночка мой,

мы тебя очень благодарим, что ты с нами такой откровенный. Твой папа тебя одобряет и совершенно с тобой согласен. Твоя мама очень переживает. Сыночка, война теперь кончилась, а я тебя жду, если бы ты только знал, как я тебя жду, потому что мне, сыночка, самое главное – думать о тебе и крепко-крепко тебя поцеловать, и скажи мне, почему бы тебе скорей не приехать повидать свою маму? Не знаю, сыночка, правильно ли ты решил. И сколько мы всего за войну пережили, я тебе просто не могу передать. Я уж теперь ничего не знаю. Сыночка, тебе надо ко мне приехать и все мне объяснить, чтобы я тоже была с тобой согласна. Сыночка,

я тебя очень прошу, приезжай, и если ты можешь только на неделю, то хорошо, пусть будет на неделю. А потом, если тебе так надо уехать, ты уедешь, и совесть твоя будет спокойная. Ах, сыночка, я так мечтала, что ты купишь домик на море в Лонг-Айленде и поживешь с нами немножко и поможешь отцу встретить старость. Твой отец, конечно, здоров, но в шестьдесят лет, скажу я тебе, человеку хочется тихой и мирной радости, ничего, конечно, такого, только то, что он заслужил. А ты тоже заслужил и мог бы порадоваться, разве ты не жив-здоров? Не хочу, сыночка, тебе навязывать свою волю. Но в сердце у меня что-то протестует: если нас небо и судьба помиловали, зачем же нам опять разлучаться? Я тоже стала старая. Твоя мама целует тебя так крепко, как только одна мама и умеет».

Поначалу я проклял твое письмо. Что за смесь мольбы и шантажа, хныканья и хитрости! Через два дня понял, что имеешь право и что сам я в суровых походах очерствел и забыл о сыновнем долге. Я срочно кинулся заключать желанный договор, поспешно обустроил себе рабочий кабинет, второпях набрал людей, не посмотрев даже, кого нанимаю. Конечно же, я тоже хочу тебя повидать и ужасно, страстно, безумно жажду насладиться миром и покоем, а не бросаться с корабля на бал к новым подвигам. Солдат во мне все же сдался штафирке. Я представил, как сижу в саду в голубом костюме с шелковым галстуком, ем пирожные под легкую музыку и поодаль господа играют в шары, не заботясь о судьбах мира. Никому, кроме шефа, не сказавшись, я улетел. В суматошном Париже посадка была сплошным сумбуром, на Азорах – негой и лирикой, на Новой Земле – забудь в таинственных ледяных озерах.

Очутившись в Нью-Йорке, я не позвонил тебе – первым делом бросился по улицам, хотелось закружиться в вихре города, любимого мной и вполне, оказывается, благополучного: война не оставила на нем ни малейшего отпечатка. С ходу я отмахал шесть-семь километров до Централ-парка напрямик по Бродвею с его урнами, дымящимся мягким асфальтом, разноцветными машинами, безликими прическами, банковскими стеклами, за которыми клиенты как в зале ожидания пассажиры в никуда, сероватыми церквями, куда забегает прихожанин почитать на краю гробницы позапрошлого века биржевые новости в газете цвета лежалого апельсина, с небоскребами – помесь минарета и турецкой бани, с зазываньем и кривляньем торгашей – вонючих сицилийцев, гнусавых литовцев, с аукционом прямо на улице рубашек б/у, а вот кому две дюжины по цене одной штуки, с неоновыми вывесками, свиристящими в три ночи, как мильон сверчков, с раздавленными хлюпающими под ногой сосисками, с бомжами и увальнями-полицейскими, хватающими их за шиворот и шваркающими на мостовую, как мешок картошки, с миллионерами в рубашках на военно-морскую тематику – морской бой в десяти картинах, с дамскими шляпками – фруктовыми корзинами и свисающими вишенками, с мороженым, похожим на баварский замок, с говором, острым, как ножницы для стрижки собак, или мягким, как жвачка, к которой прилип прохожий, пока зеленый свет, на пешеходной дорожке под носом автобуса, с толстогубыми вихлястыми неграми, с дочками-госпожами и мамами-рабынями, с облаками-улитками, поспешающими на службу в небо, а на нем – как магазинная штора: вдруг вжик, и кончен бал, с изящными мостами к Господу Богу, словно ждущими явления Его, вход на мост с того света три доллара двадцать пять центов, с рекой и свирепыми чайками, перерезающими белые и голубые лучи тысячевольтовых рекламных щитов.

Я остановился в гостинице «Астор» в центре Таймс-сквера. Как хорошо было бродить в нью-йоркской толпе. Она казалась мне безалаберней и вольней европейской, особенно в манере одеваться и говорить. Слова грубы и свежи и сразу к делу: есть, работать, платить, спать. Я сливался с миром, то ли бессознательным, то ли сознававшим, что не может слыш-

ком много, а мне это было не важно, здесь я любил все и вся, а в Европе пришлось бы выбирать, одобряв одних и осудив других. Я лопал гамбургеры и сэндвичи с копченой колбасой. Покупал свободные яркие тряпки, в них легко дышалось после всех армейских удавок. Утешался причудливыми розовыми и лазоревыми зданиями после обгорелых берлинских и прирейнских руин. Сходил в Гарлем, в «Савой» на Дюка Эллингтона, обитавшего в музыкальной стихии гордым гибким тигром. Побывал в «Райансе» на Расселле, свистящем, как змея, и тонком, как лиана-скороспелка В кабаре «Сэсайети Даунтаун» послушал Фэтса Уоллера с шикарными зубами-клавишами и клавишами-зубами, по которым скакали пальцы-сардельки. Однажды, слегка под мухой, я сидел на 133-й улице у лиловой кудрявоглазой мулатки и долго-долго ласкал ее. Я ведь тоже против расизма, я за кожу и рожу, за экстаз и за оргазм. На другое утро, проголодавшись духовно, я побежал в Музей современного искусства, посмотрел на «Гернику», но она не насытила меня, а вызвала раздражение и ненависть. Зато «Уснувшая цыганка» Таможенника Руссо пришлась мне очень по вкусу, подпитав мою новорожденную, робкую поэтическую горячку.

Теперь, окрепнув на приятных видениях и ощущениях, я был готов к тебе. Ты бросилась мне в объятия, я расчувствовался и не смог гармонию поверить алгеброй. Я тоже бросился навстречу. Отец растрогался – впервые в жизни. Ты ахала и охала на все лады – и радость выражала, и надеялась междометиями остановить прекрасное мгновенье. Количество превосходных степеней в твоей речи подошло к критической массе. Атмосфера рая царила в твоих двух комнатах, отпечатавшись на диване, шкафах, лампе, ковре, картинах. Вдобавок всюду анемоны, пирожные, золотые ленточки, побрякушки, словно сегодня, с опозданием в двадцать лет, день рождения ребенка, которого в мечтах, с тоски по нему, превратили в ангела. Мы говорили и говорили, но рассказы не становились четкой картиной. Ты сказала – мирная жизнь все излечит, и спросила, не скрываю ль, что ранен, болен или психически чем-нибудь угнетен? Я сказал – нет, что ты, просто я уже не мальчик, не тот сытый голубок, что нехотя клюет крупку судьбы.

Америке ты пропела дифирамбы: ты тут, говорила, не в ссылке, у тебя есть друзья, они тебе совершенно заменили твоих европейских знакомых, а в Европе только и знают, что убивать и убиваться. Пока меня не было, ты выучила английский и даже доучила французский. На лице у тебя появились морщины, ты стала – пожилой дамой. Отец говорил мало. Я, однако, чувствовал, что он готов к мужскому разговору со мной, на какой не пошел бы еще несколько лет назад. Дела ваши не процветают, но много ли вам, людям порядочным, надо? Было бы здоровье. С вопросами ты не приставала. На ужин подала мои любимые блюда: овощной суп с эстрагоном, баклажанную икру, чесночный сыр и брусничный компот без сахара. Потом обмерила меня в талии, сказала, что я не потолстел, и распечатала пакета три-четыре с очень шоколадными и очень канареечными рубашками, толстенными носками и галстуками расцветки, я бы сказал – на любителя. Из благодарности я не смотрел дареному коню в зубы, говорил спасибо, обнимал и в конце концов и впрямь обрадовался подарку.

Пошлая радость встречи меня целиком и полностью удовлетворила, и о бегстве я не помышлял, по крайней мерс, дня три-четыре. Рассказывал о своих военных подвигах охотно, утаил разве что самую малость, так что, с моих слов, выходило: мои военные пути-дороги были усеяны розами. Ты, правда, ткнула меня в мои же письма, вымаранные английской и американской цензурой, но я легко нашелся: наверно, говорю, впал в лирику и слишком живописал места, где был, мог, значит, выдать местонахождение своей части в Англии, Нормандии, Германии. Ты на меня посмотрела молча и долго. Дескать, не делай из меня дуру, ну, да уж ладно, все хорошо, что хорошо кончается, и кто старое помянет, тому глаз вон. Ты как бы отреклась от важной части моего прошлого, и я махнул рукой – не стал подменять тебе его



ничем. Проехали, и ладно.

Отец в наших разговорах не участвовал, самое большее – вставлял пару слов. Возрастная дистанция между ним и мной уменьшилась; лет через десять-пятнадцать отец будет почтенным старцем, мы сблизимся вполне, и даже больше, чем он ждал. А пока усилий от меня не требовалось: твое бесконечное, безграничное счастье покрывало все. Но о будущем поговорить все же пришлось. Отец любил свою работу. Заочная купля – продажа марок стала его вторым призванием. Он убивал тут двух зайцев, получая и заработок, и удовольствие. Так что с ним, мол, все в порядке, и у меня впереди – лет пять-шесть моих, а там как Бог даст. Отцов намек на милость Божью меня слегка огорчил, но я, желая быть на высоте, не спорил. Не буду разрушать в эти несколько дней образ идеального сына. Идеал, конечно, создал не я, а твоя бурная материнская любовь. Я лишь пожинал плоды. Уезжая в Берлин, я обещал тебе вернуться как только смогу: деньги теперь будут, а корабли дальнего плавания меж континентов ходят все быстрее. А ты на прощание, как ни странно, больше не приставала, не убеждала, что в Штатах мне будет спокойней и лучше. Итак, впереди прекрасная работа. Сочетала она, как два в одном, интриги и дипломатию, что вполне в то время соответствовало моему характеру. Тебе обещал – вернусь, а себе обещал – ни за что! Так что до 1949 года в Нью-Йорк я не вернулся. Нет уж, мирная жизнь – не значит жизнь у тебя под крылышком.

## Нормандия, июнь 1944

Немцы отошли было от холма на четыре-пять километров, теперь вернулись. Минометы и гаубицы дырявят голубизну. Воздух слегка сотрясается, отзываясь у меня в животе. Я равнодушен и в то же время изумлен, услышав крик командира:

– Жгите бумаги!

Что тут думать? Щелкаю затвором. Все суета сует, от пошлого моря с клочьями грязной пены до палатки, где генштабовское начальство разложилось с писаниной. Был я солдатом, стал бумажной душонкой. Воюешь ли – атакуя в подвале лондонского магазина, как дивизиями, флажочками и галочками на настенной карте? Стрельба все ближе. Запах гари мне тьфу. Даже приятно – жечь секретные документы, в которых почти все знаешь наизусть. В тридцати метрах, за тощей дюной, скоро подкрепление с моря. Больше всего меня злит паника. Капитан Битти, в языке, как все оксфордцы, эстет и аккуратист, вдруг сорвался:

– А ну, живо! Ложись! Черт! Это приказ! Мне плевать!

А Этертону все смешно.

– Слава Богу, сапоги можно не чистить. Кругом песок, а скоро и кровь появится. Кровь-то польется, уж будьте спокойны. Так что грязи на сапогах не видно.

Крессети приглаживает усики, утирает пот и шепчет:

– Хорошо было занимать береговую оборону галочками на картах и квадратиками на фотографиях. А на деле хорошего мало.

Нас вызволят через час-два – так нам сказали. Нет ничего хуже тихого хаоса. Он как этот пляж, свалка обломков: доски, камни, железо, клочья гимнастеров, оторванная рука, синяя от соленой влаги мертвечина. Швыряю в огонь последнюю папку. Этертон потешается:

– Будет переживать-то! В Лондоне есть второй экземпляр.

– Правильно, мы подохнем, а наше дело продолжат.

– Дубина, кому оно нужно? Война – это всеобщее обновление.

Но мне не до смеха, я ничего не понимаю. Зачем было подставлять нас под первый же удар? Мурыжить в нормандских песках именно вечером 8-го июня – скажите, какая честь! Может, Вашингтону или Лондону охота доказать, что Генштаб ничем не хуже пехоты? И напрасно. И очень многое напрасно. Не могу глубоко дышать, но в то же время мне до боли не хватает воздуха, будто мои легочные мешки слишком велики для сырого дрянного морского ветерка. Я спокоен. Разве? Все мои записи и карты, все сведения о немецких оборонительных сооружениях на побережье в Нормандии, все, в чем я спец, – псу под хвост! И сам я, значит, псу под хвост: младший лейтенантишка, сделал свое дерьмовое почетное дело – и гуляй, жди на пляже у моря погоды. Хороните уж лучше здесь: сыпанул поверх пару раз – и готово. А картины вокруг все безумней, картины смутные, бессмысленно вздутые. Прилетела чайка как посольша далекой державы. Торчит между двух пулеметов сапог, как памятник павшему

другу. Или мы на другой войне, в ином месте, в прошлом веке? Крессети – маркиз де Лимузен. Он угощает барынь в корсетах крепчайшим кофеом, какой пили в XVII веке корсары от Формозы до Курил. Ненавижу цвет хаки, обожаю синий времен Первой мировой, в которую, кажется, погиб мой дядя на Шмен-де-Дам. У меня отрыжка. Чертов паек, концентратная несъедобища. Небо низкое, как «мессеры» в сороковом. Именно: даже небо враг, вот-вот налетит и перестреляет нас всех до одного. Разве ж мой М-1 – друг? Настоящий друг, какой, как говорится, познается в беде, – мой пес Медорка, мой кабысдох, друг и наперсник, и я расскажу ему всю историю Франции, если только Франция после всего еще существует. Господи, паника прошла, отрешенье не наступило, и в промежутке моя голова – просто чердак с барахлом, барахолка, рванье и хлам воспоминаний.

Я спохватился. Капитан Битти проверил пепелище и перечел рапорт: «Секретные документы облиты бензином и уничтожены посредством огня». Выглядим мы прилично, но капитан говорит, что, раз уж вышла у спасателей задержка и у бошей тоже какая-то заминка в атаке, мы – только чтоб все начеку – должны побриться, потому что гладкие щеки и малость мыльца на коже – залог боевого духа, пусть хоть минут на пятнадцать-двадцать. Этертон пожал плечами, Крессети улыбнулся презрительно: ишь, мол, линкольнширский учителяшка, плевать, что в погонах, смеет учить джентльмена, который у себя дома в именье не взял бы его и в дядьки своим благородным отпрыскам!

– В ста и в ста пятидесяти метрах от нас сражаются две части, – говорит капитан Битти. – А вы здесь, с оружием или без, для обороны. Атаковать не смей. Таков приказ. Подкрепление подойдет с дороги справа. На море смотреть нечего. Основные силы у Карантана и Уистреама.

Да что ты мне объясняешь? Объяснения твои – пустой звук. Почему зыбкая дюна не станет большой и надежной горой? Почему не станет твердью песок с галькой, бездонная вязкая каша земли, воды и неба, помутневшего за десять минут? Значит, война – зыбкость и мешанина стихий? И, будь я бесчувствен, как пень, все равно страшился бы не самим страхом, а страхом будущего страха, а будущим уже и не страшился бы. Нас человек тридцать-сорок. Мы не вместе, не порознь, неудобная для артиллерии мишень и не сплоченная для отпора, пусть хоть на четверть часа, сила. Как сознательный боец я унижен и оскорблен: целый год я пытался принести пользу, выполняя задачу, требующую знаний, ума, находчивости. Я готовил, скромно, но вдохновенно, в меру собственных возможностей, второй фронт: эта работа – мое детище. И с какой, непонятно, стати, я заслан сюда, загнан, как зверь, и отдан на закланье, как пушечное мясо, вовсе того не желая! Значит, даже Генштаб не щадит слишком самолюбивого, самоуверенного, горделивого умника.

– Как ты думаешь, Этертон, – спрашиваю, – это у них заговор или просто глупость?

– Глупость, как всегда, но на этот раз авось удачная.

– А если нет?

– Тогда глупость неудачная.

– Чем бы теперь заняться?

– Надо спросить у Крессети. Эй, Крессети, сыграем в покер?

– Вы рехнулись? На поле боя? Командир вас под трибунал, господа. . .

– Черта с два. Битти со страху в штаны наделал, это не командир.

– Командир. В критические моменты и такой сойдет.

– У тебя есть карты?

– Нет.

– Ты гляди, какой послушный, все карты пожег, даже игральные. А что, вот будет умора: все бросить и сесть в картишки. Сиди да приговаривай: «Я пас».

– Ты спутал покер с бриджем.

– Я, господа, спутал жизнь со смертью, это актуальней. Так что, если заявится бош, я дам ему карты, пусть тянет, а сам угадаю: семерка бубей. Кому что, а мне – генерал джокер.

В пятидесяти метрах громовая пальба. Я – плашмя, в обнимку с М-1. Снаряды. Не знаю, куда летят, где рвутся. Крики перемежаются вой – то ли ветра, то ли моря. Боже, стихии-то за кого воют? Вдруг ненавижу морскую пену, воду, зелень. Приподымаюсь на миг, смотрю: палатка горит. Вползаю в ложбинку между холмиками, не знаю, то ли чтоб скрыться, то ли чтоб от самого себя скрыть неизбежное: немцы прорвали линию обороны и с минуты на минуту появятся здесь. А где Битти? Новые снаряды вокруг как фонтанчики, грязно-красно-желтые на темно-сине-сером. Закапываюсь. Ненавижу мокрый песок, но странной ненавистью: он – мое продолжение, раб и защитник безгласный, а я все-таки жажду сорвать его с себя, как маску, стать наконец самим собой. Одно мне лекарство от страха – утешение философией, наблюдение за метаморфозами вещей и существ. Давай, зри, грезь до белой горячки, визионерствуй на всю катушку, забудь, кто ты, что ты, где ты, смени образ, время и место, убеди себя, что, мол, я не я и лошадь не моя.

Мои самовнушения меня же и сбили с толку. Снаряды тоже сбиты с толку, летят как Бог на душу положит, то недолет, то перелет, словно реплики, так сказать, артпереговоров, неизвестно, где происходящих. Цепляюсь за М-1, как за собственный скелет. Последние попытки борьбы с болью. Но она вот-вот одолеет, захватила почти всего меня, невыносимая, и легкая, как дыхание, и, наоборот, тяжелая, как близлежащий и близлетающий свинец. Хочу не хочу – проверяю гланды и мускулы, потому что жду с возрастающим ужасом своего и их конца: а ну как откажут они или чужой волей, или своей, ополчась на хозяина-изверга. Первыми бунтуют плечи; да, ключицы жаждут вырваться из груди мяса и полетать на воле, как птицы, о Господи, тоже мне, сравненье, затертая метафора – для жизни, и смерти, и, чем черт не шутит, спасенья! Далее – коленные чашечки: потому, видите ли, что в двух-трех метрах пулеметная очередь, они размякли, раскисли, как кисель, тронь их – прилипнут к пальцам. Вероятно, из-за этого пропали ступни и икры. Нет, кажется, не пропали, кажется, посинели, раздулись, обезобразились и онемели. Не будь я трус, так бы и истыкал их, гадов, ножом, чтоб пошевеливались. Про локти – действуют, нет – ничего не скажу, не знаю, знаю только, что сегодня они то ли из простого бетона, то ли из армированного, потому что весят они тонну и пригвозждают меня, скрюченного, к земле.

Продолжаю проверку. В борьбе с самоощущением хитрю и устраиваю тело как лабиринт пещерок и пейзажиков: ползешь в самом себе от сюрприза к сюрпризу, добровольно став не то червем, не то глистом, магическим своим альтер эго. Я – разлилипученный на сто лилипутов Гулливер. Я – это я, не-я и анти-я. Боже, какое счастье укрыться в отвлеченном идиотском философствовании и самоотрицаться! Я емь тот, кем быть не могу, к тому ж семь во множестве. Определяюсь определениями неопределимыми, тем самым побеждаю время и сберегаю кости в дырявом мешке. В виске – метроном: влево – вправо, вправо – влево, тик-так, так-так, пятьдесят, сорок девять, сорок восемь, на счете один – кумпол взорвется. Вдруг вспоминаю о Валери: да, да, сюда, поэты, смените караул! Авось так еще продержусь минутку. Так, правильно, окружайте, прикрывайте, пока отступаю к морю. Первый ты, Рембо: сюда, ко мне на живот, ты же любитель голубых дел, паскудник. А ты, Бодлер, видать, мою фляжечку ищешь, плевать тебе, что она вся в грязи. Ну нет, сперва вызволи меня отсюда, а там упивайся, геройское рыло. Ба, папаша Гюго, вот не ждал, цветочная борода! Ну конечно, дорогой мэтр, принимайте командование, да нет, не у Битти, жалкий пляж не по вам, ваше место – вместо генералов Эйзенхауэра и Брэдли, и маршала Тито, и старого плута Монтгомери. А тебе что здесь нужно, Ронсар? Мало тебе лаврового венка, еще захотел маршальских звезд, чтобы убедить красоток, что дряхлеют они быстрее тебя? Аполлинер, смир-но! Ты, конечно, солдат,

артиллерист чертов, только думаешь – ранен в башку, значит, и хлебнул больше моего? Ладно, ладно, просто я не шлю сладких писем нежной Лу, только тем и горжусь. А вы, усатик Пеги, небось считаете, что я шут гороховый? По-вашему, триколор в зубы – и вперед в пекло за родину? И ура вам, надежда и мщенье? Знаешь, друг Ламартин, все мы в... твоём, извини за выражение, озере! Но ты уж меня за грубость прости: посидишь с мое в глубокой жопе, трясясь от страха, получишь право облегчиться, не мытьем, так катаньем. Пардон и поклон, Малларме, ты тоже человек нежный, тебе бы цацки-шмацки и сослагательные «бы», чтобы не выражаться, верней, выражаться на свой лад, щегольски сюсюкая и профессорски кхекая... .

Водовороты. Этертон схватился за грудь. Он где-то ниже, вижу его смутно, в общей расплывчатой мешанине: если ранен, надо, наверно, ползти к нему. Сосредотачиваюсь и кладу руку на грудь: как там, сердце, ты живо? Кишки схватило, страх прорвал заграждения. И должен я сдерживать натиск, иначе сидеть мне по уши в дерьме. Отсюда следует, что я не герой, а простой смертный, как-то: пролетарий умственного труда, крестьянин, обыватель, ноль без палочки, юноша из хорошей семьи, – все мы одна лавочка! Затишье. Солнце на закате дарует успокоение. Воспоминания, герои из сказок, сны и вымыслы, отбой! Да, но тогда – тет-а-тет с собственным телом, где засел краб – дикий страх. Ничего, свято место пусто не бывает. В утешение возникли женские лица. Сесиль Деваэт, привет тебе, длиннозубая, тонкорукая, жадногубая, первая моя учительница любви в кабинке на мариакерском пляже, то ли в 33-м, то ли в 34-м году. У тебя уже и морщинки на лбу, идол мой довоенный и довсяковоенный, потому что с радостью воображаю тебя и в небе над Креси, и в пекле под Аустерлицем, и на льду Березины, и у берегов Фарсалы. И ты, давай сюда, привиденьице милое, Жаклин Кольб, не бойся, утешительница моя безумным летом 40-го, когда был мне капут. Победило меня самолюбие, а я победил совесть и жаждал, сам, быть может, того не зная, забыть в твоих объятьях гибель Европы. Помню, говорила, что родина твоя – Эльзас, что в Эльзасе нет больше аистов, показывала на птичек, и груди твои, тоже, как птички, искали клювиками корм. Мы играли в детей и в любовь, которая «важней Франции». Ходили на гору Эгуаль по чернику и наедались, и нацеловывались досиня. Господи, сколько глаз теперь вокруг, сколько улыбок! Невесты мои однодневки, знай я, как вас звать, не так бы любил! Извольте построиться! Шагом марш! Волшебным мановением пресечь огонь неприятеля! А ты, Валентина, первая подруга моложе меня, шестнадцатилетняя, с полудетским личиком, встань-ка сюда, на фоне красного закатного солнца, и расскажи, как весну сменяет лето, а утеху – боль. Сам уже не знаю, то ли мои вы героини, то ли экранные, плоские черно-белые каланчи, – ты, узконосая Флорель; и ты, Марсель Шанталь с глубокими, как ванны, подмышками; и ты, Симона Симон, вредная блошка, куснешь – и как ни в чем не бывало: больно, милый? – и ты, Мирей Бален, страстная «девушка в каждом порту» из ближнего Булонь-Бийанкура; и ты, Марта Эггерт, с песнями звезд, тем, что осыпаются с потолка, потому что сделаны из фольги и плохо наклеены! А дальше, полуупырь, полубогиня, от тебя помирал три-четыре экранные сцены, шесть пятьдесят билет, а не знаю, кто такая: ни Пола Негри, что вздыхает, как львица, ни Кэрол Ломбард, скрытая под челкой, ни Марлен Дитрих, которой слепо верят как шпионке, не важно чьей!

Бред приводит меня в чувство. Голоса приближаются. Вечность пробыл я в забытии, свернувшись клубком. Или пару минут. Сейчас встану, отряхнусь, почищу перышки, дойду до Крессети и до Этертона, если сам он еще не доходит. Явлюсь в распоряжение настоящего. Закрываю глаза: последний бросок в прошлое. Хоть миг, да мой. Приглашаю тебя, родная-родимая, остальные все, бывшие, небывшие, вон. А ты явилась столикая и до такой степени – всякая, что – никакая. То одна, то другая, так что ни разу – неизменная, окончательная. Или, может, окончательная ты – итог изменению и неоконченностей, едина в ста лицах, явная

до наваждения, но прозрачная, словно чтоб раствориться и распуститься в потемках моей памяти, куда я по лености не заглядывал. Никакая явь тебе не привязка. Вот Брюссель, и ты в дряхлых креслах на подушках с открытой книгой на коленях рассказываешь мне о прогулках по Преображенке, где одесситы твоей детской поры останавливаются почесать язык и отведать пирожка, кто – стоя, кто – за круглым столиком акажу в кафе Фанкони. Нет, не Брюссель, а Кнокке-Хейст, и ты, все еще красавица в свои сорок, разве что малость толстушка, говоришь мне – не заходи в море далеко, волны сегодня опасные, поплавай пять минут, и хватит, вода холодная, семнадцать градусов; вы болтаете втроем с Розочкой Ром и Мельчихой и смотрите вслед усатому румыну-пианисту, у него сегодня концерт в «Мемлинг-отеле»: это ж не музыка, а не знаю что, и туше у него как у взломщика сейфов, но Боже ж ты мой, какой мужчина! Нет, не Кнокке, а Нью-Йорк, ну наконец-то встретились, ты разглядываешь фриковскую коллекцию, здоровье у тебя ни к черту, настроение иногда ничего, а так тоже поганое, делать нечего, сплошные пустые мечты, мечтаешь, мечтаешь – все один пшик! На старости лет полюбила живопись, и ну скорей смотреть-изучать, в голове каша, Веронезе с Тулуз-Лотреком, Брака с Брейгелем, Делакруа с Веласкесом – сравниваешь и умствуешь, и я покатываюсь со смеху, когда ты заявляешь:

– Не люблю Моне. У меня такое впечатление, что этот тип желает меня утопить.

Нет, ты в Лонг-Биче, на гнилых досточках пляжной дорожки. Плачешь на радостях, потому что получила от меня письмо, откуда-то из Европы, с фронта. Пишу кратко, без подробностей. Но жив, Боже, какое счастье! И тут же изменилась в лице: написано десять дней назад.

– Канадцы! Канадцы! – кричит Крессети.

Вылезаю из своей ямки. Смерть переносится на другое время.

– Без паники! – командует капитан Битти.

Слава Богу, перед спасителями мы не выглядим полными идиотами. Мы знали, что вызволят нас канадцы. Все ведь было заранее обдумано и продумано до мелочей. Чуть позже, ночью, мы решим так: начальство наше, как известно, все может. Волшебной палочкой запросто творит чудеса. Значит, и полтонны важнейших для ведения войны документов, сожженных только что, воскресит, офениксит из пепла.

– Путь на Гранвиль свободен, – хрипит Этертон, прижимая платок к красному пятну на груди, где легкое.

## Париж, май 1976

Позавчера у тебя в номере в отеле «Аржансон», стоило мне смягчиться и расчувствоваться, ты назвала меня тюремщиком. Ну, разумеется, я держу тебя в этой тюрьме, где ты плачешь целыми днями. Я разлучил тебя с друзьями. Моя жена Мария со мной заодно. Мы задумали посадить тебя под замок, лишить самостоятельности и замучить неволей, и все под видом заботы о пожилом человеке. Напрасно подзуживаешь. Я ответил спокойно, что ты не права, что вольна ехать на все четыре стороны. Ты помолчала, потом сказала, что я чересчур хитрый и всегда могу заговорить тебе зубы и ты только потом понимаешь, что я тебя надул. Ты глянула в окно на деревья бульвара Османн. Вздохнула: мол, Господи, подумать только, твой отец никогда не увидит эту красоту! Смахнула две скупые слезинки: в восемьдесят восемь лет – сгорел, несчастный, заживо, за что? В сотый раз говорю тебе, ты не виновата, и нельзя поминутно угрызаться, свихнешься в конце концов. Вдруг ты сменила гнев на милость. Так дикий зверь – то терзает врага, то ни с того ни с сего бросает жертву и убегает в лес. Ты объявила, что только я один еще и привязываю тебя к жизни. Просто, сыночка, ко всем этим переменам привыкнуть невозможно, они таки сбивают с толку, вот и сболтнешь в сердцах лишнее. Я улыбнулся выразительно: дескать, не будем об этом, я тоже тебя понимаю. Но на миг мне почудилось, что ты приняла меня за отца: мы с ним рознимся боевой, так сказать, славой, а в обычной жизни и мелких каждодневных делах – деньгах, покупках, одежде и поездках – различий меньше, а то и вовсе нет. Ты спохватилась, но с какой-то уже остывшей яростью. . . Когда я владел собой, ты ненавидела меня тайком, а на словах даже нежничала, потому что боялась и стыдилась невольных вспышек, с которыми, если дашь волю, не совладаешь. Итак, спохватилась и сказала, что я мошенник и изменник. Я сдержался. Ты поняла это по моим сомкнутым челюстям. Я резко взял твою руку, поцеловал, как принято, и вышел, не сказав ни слова.

А вот вчера, наоборот, у нас с тобой была тишь да гладь, штиль после бури. Я вошел к тебе в номер с белыми гвоздиками: шесть штук, говорю, всего принес, они мне не нравятся, а другие искать было некогда. Ты любишь внимание, хотя никогда не признаешься. Благодарно вздохнула и долго восторженно ахала, когда я поставил гвоздики в вазу на камин перед зеркалом. С кровати тебе кажется, что их не шесть, а двенадцать. Мы поболтали с тобой о том о сем, чем заполнен твой теперешний мирок в двадцать квадратных метров. На балкон слетелись голуби поклевать твоего им угощения. Нет, в кафе на Сент-Огюстэн ты больше ни ногой, не нужен тебе их хваленый кофе: рыба у них тухлятина, ты чуть не отравилась. Хозяйка отеля – милейшая дама, рассказала тебе про свой роман с мастером-багетчиком с бульвара Османн, но он, видишь ли, женат, и жена такая стерва, им приходится встречаться тайком; но, Боже ж мой, какие проблемы? – добавила ты, – в отеле туристы днем всегда уходят смотреть свои лувры-шмувры, кровать всегда найдется. Потом спросила, пойду ли я с тобой

на следующей неделе к окулисту: прописанные тебе капли тебе-де как мертвому припарки и, когда читаешь, на двадцатой странице глаза уже устают. И сама же себе ответила, что другие в твоём возрасте уже совсем слепые, а у тебя что-то, а глаза хоть куда. И поспала ты сегодня ничего, только опять видела этот ужасный сон, как отец читает стихотворение Рильке в каком-то незнакомом месте – ивы какие-то, ручей, скалы, а на холме молодежь хлопает в ладоши, но аплодирует почему-то совсем не отцу, а к нему они стоят спиной и смотрят, как встает луна. Тут ты остановилась и робко хихикнула. Потом говоришь – и вдруг отец без головы, и сон почти как явь, и ты теперь будешь мучиться целый месяц. И тут же сменила тему. Зачем, говоришь, мне столько тряпок? Только шкаф занимают. Шубу ест моль, хорошо бы продать, если есть покупатель, или подарить, не знаю кому, все такие неблагодарные и всем некогда. Я посмотрел, что за лекарства у тебя на тумбочке у постели: дюжина баночек, скляночек, коробочек, куча рецептов. Чего доброго, говорю, перепутаешь что-нибудь. А ты отвечаешь, что, если ты от этого умрешь, значит, так тому и быть, и в любом случае, умрешь ты или нет, никому до этого ни малейшего дела, ни мне, ни всем другим. Я и глазом не успел моргнуть, не успел сказать, что ты поправишься и еще повоюешь, как ты снова сникла: заявила, что устала и наговорила все не то, и верить тебе не надо, что ты сама первая поняла, что у тебя атеросклероз, хотя голова более-менее ясная. Далее ты провела сравнительный анализ двух тросточек – той, что купил я тебе три месяца назад, и отцовой, с черепаховым набалдашником, привезенной тобой из Штатов. Отцову ты чтишь, даже странным образом любишь, но ведь вещи – это вещи, надо уметь избавляться от них, так что ты предпочтешь мою, хотя она не имеет вида. Я ответил, что вида не имеет твоя сумка, дерматиновая торба, такому старью место давно на помойке. Ты попыталась возражать, сказала, что любишь ее, потому что она легкая. Разговор наш был пошл, убог, зануден и сер беспросветно. Ты почувствовала, что он злит меня. Стала рассказывать, о чем прочла сегодня в «Фигаро», «Пари-Матче» и «Мари-Клер». Я сказал, что такой муры не читаю, и, кстати, спросил, не купить ли тебе телевизор. В ответ ты возмутилась: по-твоему, мне целый день нужно кино глядеть? Да за кого ты меня принимаешь? Потом сказала, что хочешь поехать отдохнуть, но, ясное дело, одной передвигаться тебе не под силу, хотя, конечно, слуг везде достаточно и они за чаевые готовы расстараться. Только не знаешь, куда ехать: в Витель, где понравилось тебе в прошлом году, или в Трувиль, где, говорят, еще лучше. Тут ты снова пустилась вздыхать и вспоминать: до войны отец возил тебя в Виши, Карлсбад и Мондорф. Потом перешла на последние международные события: как по-твоему, Мао действительно такой гений? Я стал говорить, а ты с облегчением – слушать, чтобы не говорить самой и отвлечься от себя. Я, таким образом, прочел тебе краткую пятнадцатиминутную лекцию, стараясь говорить как можно проще. К примеру, напомнил кое-что из новейшей истории, о чем ты забыла. В ослеплении ненависти ты путала Хрущева с Брежневым и одному приписывала дела другого. Говорила, что Никсон очень способный и знает, как вести себя с русскими. Считала, что Чан Кайши – японский маршал. Моя лекция тебя развлекла, ты перестала скрипеть и кряхтеть. Зато принялась ни с того ни с сего умолять, чтобы я постоянно носил с собой кораминовые капли. Дескать, если плохо с сердцем – самое верное средство: через две минуты все как рукой снимет. Потом сказала, что любишь Ганди. Я не решился напомнить тебе, что его убили двадцать лет назад. Объявила, что в восторге от де Голля, и по моему насмешливому лицу поняла, что мне тебя жаль. Задумалась на миг и воскликнула:

– Ты считаешь, что я дура! Правильно, у тебя мать всегда дура! Я знаю, что он умер. Ну так и что с того? Для меня он всегда жив.

Затем ты сообщила, что Гоголь, которого перечитывала, прекрасен и что Горький со своей автобиографией, вон она, на столе, – ужасен. Он невежа и неуч. Ушел я от тебя в меньшем,



чем обычно, отчаянии.

Сегодня суббота, по субботам у нас с тобой обед вдвоем. Неспешно рассуждаю, что, возможно, мои мучения – дело достойное. Впрочем, я стараюсь казаться простым, милым и открытым. Ты веришь в мою сыновнюю любовь, потому что хочешь верить. Ты прекрасно понимаешь разницу между чувством бессознательным, инстинктивным и долгом через силу, потому что так надо. Все оттенки улавливаешь. И пытаешься уверить себя, что действую я по наитию: чем больше уверяешься, тем больше так оно и есть. Протягиваю тебе коробку шоколадных конфет. Твои любимые «Кот де Франс» – луч света в твоём темном царстве. Принарядилась: на тебе чудесное сине-сиреневое платье и большое тяжелое брильянтовое кольцо. Парик – под цвет лица, ни черный, ни белый. Вид у тебя в нем праздничный. Вдобавок губы ярко накрашены, к тому же словно подчеркнуты резкими морщинами под носом и нижней губой. Прячешь очки в карман и проверяешь, не перекручены ли чулки на иссохших ногах. Одной рукой опираешься на меня, другой на палку. Руки долго трясутся, того и гляди, оторвутся совсем. Ты как пушинка. Весишь, думаю, кило сорок, а то и меньше.

Даешь мне ключ запереть дверь на два оборота: сама бы, наверно, не справилась. Спускаемся на лифте, выходим – ты улыбаешься швейцару и даешь ему франк: чем мы дряхлей, тем щедрей. Не дай Бог, упадешь в подъезде, молодой человек вспомнит, что ты дама щедрая, и вызовет «скорую». Мелким шажком сворачиваем с бульвара Ос-манн на улицу Миромениль и идем к Ла Боэси. Сообщаешь дребезжащим голосом, что здешний булочник – псих: зачем-то печет булочки в виде велосипедов и клоунов, а парикмахерша устраивает перерыв с четырех до пяти, теряя на этом кучу клиентов, наверно, ее хахаль в другое время занят, жизнь, словом, идет помаленьку. А от тебя помаленьку – уходит: то и дело плохо с сердцем, руки-ноги не слушаются, сто метров пройдешь – останавливаешься. Спросила, что такое «безналоговые 8 %» на плакате в окнах Парижского банка. Отвечаю, что кое-какие практические вещи лучше узнавать смолоду. Подписать чек для тебя трагедия. По-твоему, все мы грабители – и кто выдает деньги, и кто за тебя поучаст, то есть я. Остановилась, пригрозила: будешь так говорить со мной, вернусь, лягу и больше с тобой не буду обедать никогда. Легонько толкаю тебя локтем: ну так давай, возвращайся! Идем, однако, дальше. Опять сменив гнев на милость, вдруг заявляешь, что во всем виноват мой отец: видишь, святой был человек, оберегал ее от всего. Я молчу. Не говорить же тебе, что после драки кулаками не машут. Совесть замучила. Искупаешь угрызения посмертным обожанием.

У молочной лавки привалилась на миг к стене, отдышалась. Ругнула погоду. Париж не лучше Нью-Йорка, только ветра меньше, так ты считаешь. У аптеки посмотрела в витрину, восхитилась. Все-таки французы молодцы, они люди с большим вкусом и чувством прекрасного, видишь, как удачно у них сочетается цвет и форма. А у мясной делаешь вывод, что мясо такое же дорогое, как и в Штатах. Что до меня, то я начинаю подозревать, что с головой у тебя все хуже, и ты, чтобы скрыть это, затеяла говорильню, по-твоему мнению, разумную. Проходим выставочный зальчик живописи: ах, Боже ж мой, и зачем же я бросила скульптуру, это же было мое призвание! Годы теперь, конечно, не те, но почему бы... Скоро, вот увидишь, сыночка, я вытащу инструменты. Напрасно ты засунул их в чемодан. Только купи мне глины... Иду и думаю: в самом деле, завтра-послезавтра куплю тебе глины, чем бы дитя не тешилось. Хотя, с другой стороны, если опять приступ, я же буду и виноват, что подбил на безумие. Перетащил тебя на ту сторону и посадил в пиццерию, тебе нравится здесь, нравятся кресла и красные свечи в бутылках.

Мы сидим за маленьким столиком, лицом к лицу. Вижу каждый твой взгляд, каждое движение. Твой лоб как мятая бумага, которую невозможно разгладить. Ноздри дрожат, никак не найдут четкого положения. Единственное молодое – розовые уши, и кажется, что они – не

твои, а пришиты наспех, на дурацкой омолаживающей операции. Шея, полускрытая коричневой шалью, – торчит, словно цыплячья, и как-то неопределенно подтанцовывает. Обвисший второй, так сказать, подбородок трепещет, как парус на лодчонке, особенно убогой в порту, рядом с гигантскими лайнерами. Руки в старческих веснушках, оголенные ногти, все в бороздках, – как источенные временем зубцы на башнях средневековых замков. Вставные челюсти держатся крепко, но труп есть труп, и впечатление распада было бы полным, если б не твои глаза, темно-карие, острые, живые: прыгают, замирают, примечают всякую мелочь, улетают вдаль, возвращаются, ныряют вглубь и тут же возвращаются назад, вдруг тихие, значительные, как бы осмысляющие увиденное и почерпнутое на глубине и в выси. И словно ни тени близорукости. Наоборот, поразительна острота взгляда: сперва кажется – враждебность, а приглядеться – изумление раз и навсегда: кто я, где я, в чем дело?

Вцепляешься в вилку и осторожно несешь ее к морщинистому рту. Вряд ли донесешь ты свои макароны: платье заляпаешь, ибо салфетка свалилась на пол. Ты знаешь, что я слежу за тобой. Ты жуешь, а я сужу, как судья, и тебе это неважно. Перестаешь жевать, берешь кусочек хлеба, мажешь маслом, хоть есть не хочешь, отпиваешь глоток воды. Держишься, держусь и я. Никакого живого, непосредственного контакта между нами нет и быть не может. Привычно говоришь, что я твой палач, что наблюдаю за твоей смертью внимательно и равнодушно, будто констатирую факт, причем от души этому факту рад. А в таком случае, чем скорей, тем лучше, и ты, мол, знаешь, что сделать. Я почти и не протестую – лишнее доказательство, что ты, видите ли, читаешь мои мысли. Молчу некоторое время. Потом говорю, что эти обеды – лучшее, что осталось в наших отношениях. Ты усмехаешься: тарелка макарон и кусок пиццы с луком, тоже мне, отношения!

Я строю планы, говорю неопределенно, деланно поэтично. Поедем, говорю, с тобой отдохнуть, на машине, с шофером, посмотришь Сюлли-сюр-Луар, тебе же там очень понравилось в прошлом году. Заодно покажу тебе Льон-ла-Форе, там такой лес, древний, дремучий! Слова возвращают к действительности. Пускаюсь рассуждать о мировой политике, пока ты ешь суфле. Скачу с пятого на десятое, что, мол, Хусейн малый не трус; что Садат, может, большой либерал, но и большое трепло; что Киссинджер считает себя умней всех и, кажется, увы, прав; что Ален Делон – ты пугаешь его с Ивом Монтаном – та еще штучка; что Катрин Денев худшая актриса и лучшая красавица последнего десятилетия. Ты очнулась и просишь у меня фото иранского шаха: займешься опять скульптурой и сделаешь его бюст. Мы с тобой успокоились. Пора вести тебя обратно в отель, а это снова целая история. Ты смахиваешь слезинку-другую и просишь прощения за свои настроенья, которым ты уже не хозяйка.

## Брюссель, весна 1929

Я сломал третье перо за неделю, и ты утешаешь: не ошибается тот, кто ничего не делает. А почерк у меня стал лучше, и ты рада. И рада, что учитель в школе похвалил меня за ум и усидчивость. Все-таки, сыночка, будь умницей, особенно на переменке. Не обижай мальчиков, не дразни их словами из энциклопедии. Мальчики такие ранимые, а ты зовешь их «утконосами» и «муравьедами». Согласна, эти животные очаровательны, но все равно это нехорошо. А я чмокаю тебя и говорю, что мальчишки мне завидуют, потому что у меня новый желтый кожаный ранец, большой и мягкий. Не завидует только Гаэтан Бетенс, подлец, все время насмешничает, проходу не дает. Ничего, говоришь, терпи, сыночка, у него очень уважаемые родители, мать работает в мэрии, а отец – герой изерской кампании, трое суток пробыл по колено в воде. Я поведал тебе, что влюблен в гипотенузу, и по ответу понял, что ты не знаешь, что это такое. Тут меня осенило: над тобой же можно подшучивать, даже просто издеваться! Вполне логично: если смеяться над товарищами нельзя, то над тобой можно, ты не обидишься. И я, перевирая, стал спрашивать тебя обо всем, о чем узнал на уроках. И ты разводила руками, не зная, что сказать. А правда, спрашиваю, что адмиралы Бойль и Мариотт наголову разбили испанцев? Что Пипин Короткий был метр двенадцать или метр двадцать ростом? Что кислород получают путем кипячения водорода в герметическом сосуде? Что Гутенберг приписал от себя три главы к Библии и за это был отлучен от церкви? Что Луи Пастер построил Эйфелеву башню и что, пока ее строили, рушилась она три раза? Что все импрессионисты – слепые от рождения? Что Австралия излилась с неба на Землю потоком огня и воды в конце правления Филиппа II и оттого австралийские зайцы все отекие, а лебеди обугленные? Что не Марко ли Поло изобрел теннис, гольф, хоккей и прочие виды спорта для богатых? Что не Иисус ли Христос продал Понтию Пилату Иуду за тридцать сребреников?

Ты и сама смеялась вместе со мной, хотя не всегда различала, где правда, а где ложь, где всерьез, а где в шутку. Иногда звала на помощь отца, и он мигом вносил ясность, хотя никогда особо и не бранил. А иногда и сам попадал в тупик и лез в справочник по истории или географии. Так что в шутке, хоть и не в каждой, как всегда, находилась доля истины. И я расстраивался, что подшутить над тобой не удалось. Но и ты расстраивалась, что имела перед сыночкой бледный вид и что отец оказался на высоте. А я продолжал наслаждаться розыгрышами: ты была легковерна, ленива и боготворила свое чадо со всеми его капризами. Ты объявила, что школа мне решительно на пользу, но остерегла: товарищи приходят и уходят, а папа с мамой остаются. Учителя, впрочем, не лучше товарищей: от них польза лишь уму, который забивают они согласно новейшим методам, а не сердцу. А сердце важнее ума. А до сердца твоего дело только маме с папой. Слушал я тебя угрюмо, и ты позолотила пиллюлю: я, сыночка, не мораль читаю, я о тебе забочусь. И тут же спросила, какого цвета занавески хочу

я у себя в комнате. Она ведь маленькая, так пусть будет удаленькая. Учусь я прекрасно, у меня по всем предметам, кроме физкультуры, пятерки, одним словом, умный хороший мальчик. Стало быть, заслужил, чтобы комната моя была устроена, как нравится мне, а не папе с мамой, при условии, конечно, что я и тут буду слушать папу с мамой.

Занавески меня не заинтересовали. Велика важность – мебель, тряпки. Блуждать во времени и в пространстве, даже если в голове еще путаница, куда веселей, чем менять у себя в комнатенке шило на мыло. Нет, сыночка, по-моему, надо повесить тебе на окна что-то веселенькое. Вовлекала меня в игру: давай придумаем что-нибудь этакое в твою комнатку, ведь ты проводишь в ней треть жизни. В угоду тебе я предложил сделать комнату каютой или купе. И увлекся, и стал осматривать все до мелочей. Проверил каждый гвоздик, каждый цветочек на обоях, каждый холмик линолеума. В самом деле: занавески – бурая дрянь, пыли якобы не видно, и чистят это старье раз в сто лет. Решил сменить их на голубые с сиреневой бахромкой. Ты согласилась, добавив, что как раз у отца дела полгода уже идут в гору. Я вошел во вкус и пожелал обустроить каюту самолично. Предложил освежить и выкрасить балконную решетку в черный цвет. Ты опять согласилась. Чистота – залог здоровья, а в здоровом теле здоровый дух.

Чем дальше в лес, тем больше дров. Ты соглашалась на удивленье радостно: если сыночка так любит свою комнату, значит, растет семьянином и в будущем папу с мамой не бросит. Твоя радость влетела вам с отцом в копеечку. Но вы рады были стараться. Я потребовал сменить у меня обои с огромными назойливыми гортензиями. Ты принесла мне каталог, которым запаслась, как роялем в кустах. Я скривился: хочешь-таки мне навязать свое? С деланным отвращением отверг я и серо-голубые, и крохотными пагодами японские, и бордовые с оранжевой клеткой, правда, для стен вполне удачные. Ты ничуть не сердилась, сказала, что принесешь другой каталог. Или, может, сыночка уже сам нашел? Я отвечал неопределенно: может, просто неяркий, спокойный цвет, чтоб не мешал заниматься и чтоб потом не пришлось носить очки. За эти слова я был пожалован пирожными и дополнительными поцелуями. Настроение у меня тут же испортилось. Наконец, придумав на ходу, объявил тебе, что хочу зеленые, салатные или цвета морской волны, чтоб напоминали море, плаванье, приключения и необитаемый остров. Ты встретила мое пожелание с восторгом, так что я и сам чуть было не поверил в него.

На том, однако, дело не кончилось. Я захотел овальный стол вместо квадратного, потому что больно задевал за углы локтями и коленями и приятели считали, что синяки у меня от родительских тумачков за плохой характер и нежелание платить им любовью за любовь. Мои желания стали в тот месяц законом. Исполнялась каждая прихоть. Я ковал железо, пока горячо: не хотел свою деревянную кровать – хотел с металлическими шарами, чтобы гладить их, когда жарко. Цель, как показалась тебе, не оправдывала средства. Ты несколько дней сопротивлялась, и я стал злым, сварливым, взбалмошным. Плакал, потом извинялся и плакал पुще прежнего. По собственному почину, меня не спросясь, ты сменила мне старую лампу на две новые роскошные на шарнирах – направлять свет. Я ликовал, но вида не подал. Белые пятна отныне будут самыми таинственными островами Микронезии, вечными снегами Андов и, само собой, Центральной Африкой, а я Ливингстоном и Саворньяном де Бразза.

Счастливей в новой комнате я не стал, хотя слегка порадовался перемене, а главное – был доволен, что помыкал тобой. У меня появились проблемы – с собственным телом. Проблема-то до сих пор была одна – гигиеническая. Умывание дважды в день, ванна утром, чистота рук и ногтей. Зарядка также, и не только в школе. Следовало ходить по улице, расправив плечи, прямо и дышать полной грудью. В случае неладов с кишечником надлежало сосредотачиваться и расслабляться, чтобы заставить-таки природу подействовать. Просто и ясно,

выполняю как миленький. Скоро научусь плавать, а на десять лет получу в подарок новенький велосипед. Теннисную ракетку и роликовые коньки, если пожелаю, со временем подарят тоже. Неожиданно возникли трудности с тем самым органом, который именовал я, в зависимости от обстоятельств, «колбаской», или «хвостиком», или «братишкой», или, прямо и грубо, «этой штукой». Свисающий предмет не восхищал меня, даже не смешил. Скорее как-то неопределенно пугал: на горе мне он или на радость? Нехотя разглядывал у приятелей, зимой особенно, в темных углах двора, сравнивал со своим: мой был ни длинней, ни короче. Разговора я с ним не вел, в отличие от других мальчишек, уверявших, что он у них малый умный, хитрец и вольнодумец.

Раз или два показалось мне, что что-то вдруг, то ли выше, то ли ниже, не так. Дальше – больше. Я был поражен и молчал. С месяц не хотелось ходить в школу, быть лучшим в классе, даже учебу запустил. Собраться с силами – не было сил. Казалось, все мышцы против меня – против и души, и тела. Несколько раз я сомлел, о чем никому не сказал, на уроках истории и географии. В результате спутал Бретань с Норвегией, заявил, что Рейн течет с севера на юг, так что поместил его устье в Верхние Альпы, назвал марганец тропическим фруктом и коровьей жвачкой, приписал победу Риволи Фридриху Барбароссе и сказал, что последний французский король – Людовик XXII. Учителя решили, что я издеваюсь. Чудом избежал я кары. В моей околесице повинно было, конечно, большое воображение, но не только оно, а и неспособность справиться с собой, беспокойный сон и испарина. Нет наверняка я чем-то страшно и неизлечимо болен.

А «эта штука» всё откалывала номера. Я следил за ней с утра до вечера. По ночам она насылала бессонницу и виденья монстров и женщин, вдруг голых и простоволосых. А кожа ее становилась липкой, и сама она, к моему удивлению, ни с того ни с сего то съеживалась и увядала, то росла и напрягалась, словно что-то выталкивало ее изнутри. Я пытался обдумать и понять – но в лихорадке не мог сосредоточиться. Мне нужен был совет, однако ни к тебе, ни к отцу обратиться я не смел. Прошел месяц, наконец вы заметили, что со мной неладит. Спросили, что случилось, я сказал, что упадок сил. Ты заставила пить рыбий жир – не помогло. И тогда я ополчился на «эту штуку». От нее не стало житья, я ругал и проклинал ее как калеку, свою обузу. Все больше сходил с ума. А ты не могла понять, в чем дело, отвела к своему врачу, тот тоже ничего не понял, сказал, что на меня такой стих нашел, скоро все пройдет. Ты повела меня в кинематограф. В своей любимой кондитерской у Намюрских ворот накормила мороженым. А потом вдруг нашла причину всему: дескать, я списал химию у мальчика, знавшего лучше меня, получил «отлично» и теперь мучаюсь угрызениями совести. Мое больное воображение плюс твое – в других случаях, правда, здоровое. Я зарыдал – ты и в этом усмотрела доказательство своей правоты и радовалась, что так проницательна. Я ласкался к тебе и не скрывал, что мне плохо. Наконец ты предположила, что дело, может, и не в химии. Спросила у отца, но он рассудил здраво: не хочет говорить, не надо, значит, сам справится.

Однажды ночью «братишка» грубо разбудил меня: горячий, дрожащий, липкий, с белой каплей. Я в панике: Господи, у меня проказа, гнию заживо! Ощупал живот, шею, бока – нет, белая дрянь больше не течет ниоткуда. До утра я не сомкнул глаз, на следующий день не раскрыл рта. Три дня спустя оказалось, что в пятнах вся пижама. Но, помнил я, в ночных кошмарах вроде был момент сладости. Осматривал себя, ожидая сыпи, прыщей, потом решил открыться тебе. Выбирал, как именно сказать: «Мамочка, у мужчин тоже есть молоко, смотри»; «Мамочка, я болен, из меня капает»; «Мамочка, а сикать белым опасно?»; «Мамочка, по-моему, у меня проказа»; «Мамочка, у меня что-то с «братцем». Так и не выбрал, и не сказал ничего. Только ластился к тебе, но ты все списала на сыновнюю ласку. Я смотрел

умоляюще, глазами звал на помощь – ты не вняла. Я постанывал – ты сказала: размурлыкался котенок мой сладкий. Я выросел – ты сослепу продолжала видеть во мне ребенка. И я не смел заговорить с тобой о первых телесных мучениях, даже просто спросить, не болен ли я, если по ночам такое. Так и закоснел в невежестве и решил вообще ничего тебе не говорить. Вместо этого подлизался к самому ненавистному и мстительному сопернику в классе Гаэтану Бетенсу. На целый месяц я принял его опеку, стал служить ему верой и правдой. Новая моя стратегия была мне на руку на переменах, и в играх, и, особенно, в заговорах против учителей, которых не любили и то и дело обижали-огорошивали: то подкинем губку с чернилами или мел, вымазанный клеем для мушиной липучки, то забьем гвоздь в стул, чтоб острием порвал пиджак или брюки сидящему, то выпустим на парту червяка, лягушку или выложим на видном месте целлулоидную какашку, купленную в магазинчике хохм и розыгрышей, прицепим к окну снаружи рулон туалетной бумаги, чтоб реяла на ветру, как знамя. Я проявил чудеса находчивости и изобретательности и наконец, хоть и младше был, покорила Бетенса. Тогда я признался ему, что хочу выяснить одну вещь и что он – единственный на свете мальчик, кому я верю. Я был зван к нему в субботу вечером и, явившись, живо и взволнованно изложил дело: болен-де и о том не знает даже мать. Бетенс засмеялся и спросил, известно ли мне, что такое половое созревание и влечение к женщине. Я что-то пробормотал, скрывая смущение. Он поздравил меня и велел помириться с «братиком». А заодно наставил: надо бы мне узнать, что к чему, чтоб быть достойным его, Бетенса, уважения. Лично он от сестер и братьев давно все узнал, а именно, как вести себя с этой штукой и как называть ее – фаллосом, членом и половым органом – не краснея. Ночные извержения, предупредил Бетенс, станут чаще, а затем начнутся и дневные. Скоро я научусь вызывать их сам, и от блаженства буду на седьмом небе, и лучше этого ничего в мире нет. С опаской, но все же заключил я, придется мне принять себя, каков есть, даже с животным своим началом. Бетенс захотел осмотреть мой орган, нервно взвесил его и объявил, что прощает глупого мальчика и будет воспитывать для великих дел, правда, не сказал каких.

Постепенно ко мне вернулись хорошее настроение и, главное, сон. На тебя я смотрел теперь со смесью жалости и презрения. Не поняла ты мои немые вопросы и в самый нужный момент была слепа и глуха и только и знала, что умиляться котеночку без всякой для котеночка пользы. Я снова говорил, играл с тобой, по привычке – не по охоте. И соединяли отныне меня с тобой не чувства, а стены, вернее, разделяли, как стена враждебности. А может, порой думал я, ты все прекрасно разглядела и поняла, но смалодушничала и не пришла на помощь. Может, ты любишь меня, но душевной дружбы нет? Не один месяц я о том раздумывал, но решил, что действительно нет. Тогда я и ведать не ведал, что у подростка семь пятниц на неделе и все решенья – то по наитию, то по расчету, а чтоб по зрелом размышлении, так это еще не скоро. Мы без конца рассуждали с тобой о счастье, но машинально, как о погоде. Твоя мелочная опека стала казаться мне бессмыслицей. В один прекрасный день я объявил тебе, что комната моя – дыра, светелка чахоточной барышни в сравнении с Гаэтановой, в зелени, как зимний сад, просторной и достойной будущего мужчины. Даже добавил, что любящие родители – хорошо, а богатые – лучше.

## Берлин, март 1946

Жизнь – штука жестокая, и я не стыжусь быть тем, кто я есть: профессиональным победителем. Шесть лет паники, боев вслепую, поражений и неизвестности – и вот я нашел свое место, свое поле деятельности. Я тоже преобразую мир. Эта мысль, хотя и хмельная, не помеха работе здесь, в древней столице, где мне даны начальством кое-какие полномочия. Я горд собой. Это мое право и обязанность, пусть с долей самодовольства, и демагогии. Я в полном согласии с собой. Принцип мой прост: немцы не враги, а ученики. Учю я их так, как считаю нужным. У меня в руках мягкий воск, и я вылеплю из него, что пожелаю. Русские сделали черновую работу, отвоевав ежедневно и ежечасно, плечом к плечу, пядь за пядью. Американцы сняли сливки – после всего, упрочили победу, и доллар, пущенный в дело, поднимет Европу. Англичане обошлись малой кровью, разумно избегнув лишней бойни и мести. Французы подоспели после драки и немного помахали кулаками.

Я самолично реквизировал особняк, где живу. Он был в целости и сохранности, только стекла кое-где выбиты. Жильцам – пятидесятилетней хозяйке с четырнадцатилетней дочерью – я дал на сборы три часа. Где жить им, не мое дело, на это есть соответствующие организации. Посуду, мебель и даже семейные портреты вывозить я запретил: таков приказ. Взять дозволялось два одеяла, постельное белье, наличные деньги и продукты. Хозяйка лила слезы: дескать, муж в плену, дочку чуть не изнасиловали русские, позвольте жить здесь, в комнате для прислуги, за любые деньги, мешать не будем. Я отказал наотрез и выставил их безжалостно. Мой капрал был тут же, на случай применения силы. Я не жестокосерд: просто я занят и за деревьями вижу лес. В Германии – уйма работы, а лес рубят – щепки летят. А вдовы, и старики, и старухи – именно щепки, в демократии не приживутся. Дети и пять миллионов военнопленных еще куда ни шло. Я промою им мозги, объясню, что их старое дело погубило страну, а новое возродит. Эта промывка, понятно, не самое верное средство. Сказано: не лейте новое вино в старые мехи. И лучше бы похерить старье и начать с нуля.

Я – офицер, отвечающий за связь между четырьмя державами-победительницами, объединенными в Контрольный Совет, и союзными Данией, Новой Зеландией, Югославией и Бразилией. Вместе с коллегами организую круглые столы, дискуссии, разного рода переговоры. На повестке дня постоянно одни и те же вопросы: военные репарации, компенсации, реституции, репатриация, поиски пропавших без вести. Всюду хаос. Но ничего, скоро образуется военное управление, а через два-три года оно станет гражданским. Несколько раз в неделю я – переводчик на конференциях, в частности управленческих, по делам внутренним и конфессиональным: генералы с техническими советниками решают судьбу немцев, а именно – вопросы демобилизации, денацификации, возвращения военнопленных. Работа мне нравится, а есть занятия еще интересней и ответственней. Провожу у себя собрания местной интеллигенции и писателей, инженеров душ. Все жаждут прозренья, хотя, боюсь, долгое время

кое-кто из них сознательно закрывал на все глаза. Я, однако, в отличие от шефов, не делю немцев на нацистов и анти. Кроме черного и белого есть полутона. Интеллигенты – храбрецы не больше прочих, то есть не злодеи, но и не герои. Моя задача – разжечь в них добрую искру, демократическую, сентиментальную и неясную, которую победители никак не высекут сообща. А иные немцы и вовсе вышли из тюрьмы или концлагеря. И в жертвах огонь не меньший, чем прежде в палачах. Наивных неопитов я, правда, побаиваюсь. Следует внушить им, чтоб не смотрели на демократию сквозь розовые очки.

Выписал из Парижа и Нью-Йорка книги, теперь распространяю их, даю знакомым на перевод или передачу издателям. Эти последние поднимают голову. Через несколько месяцев военная власть установит им бумажную квоту. И с лета 47-го, издатели, подписав обязательство по выпуску практических учебных пособий первой необходимости, смогут печатать и художественную литературу. Будем направлять, а когда и поправлять немецкие души. То есть откроем им Сартра, Камю, Фолкнера, Стейнбека, Дос Пассоса, О'Нила, Тойнби, обоих Хаксли и заодно залатаем дыры, объяснив, что такое сюрреализм. Экземпляры Лотреамона, Теннесси Уильямса, Андре Бретона и Сарояна у меня оторвали с руками, так что работа ширится. Фуртвенглер ждет разрешения на новый оркестр, в следующем месяце начнет концерты в штеглицкой «Титании» – бывшем кинематографе. Несколько музыкантов, которых я закармливаю мясом с салатом и картошкой, займутся репертуаром. Задачу ставлю так: во-первых, изгнать Вагнера, потому что нравился Гитлеру, и Рихарда Штрауса, потому что играл ему. Во-вторых, вернуть Мендельсона. Но главное – в-третьих: гражданский долг моих друзей-музыкантов – открыть Гершвина, Бартока и Шостаковича. Театрам тоже хочу дать указание. Считаю, следует поставить «На волоске от гибели» Торнтон Уайлдера. А если Брехт и правда вернется, то русским, к их чести, повезет больше, чем нам. С искусством изобразительным тоже предстоит попотеть. Ткнуть берлинцев носом в Пикассо, Дали, Танги, Мондриана – пожалуй, сбить их с толку. Что ж, сбить так сбить. Рассудочным косным умишкам не лишне приобщиться и к зауми! Культурная пропаганда, как я полагаю, должна быть на высшем уровне. Начальство в Контрольном Совете очаровано моим начинанием. Я их, значит, все больше очаровываю, зато они меня все больше разочаровывают. Нет, конечно, генералы есть генералы. Но часто свадебные. Вон, к примеру, Эйзенхауэр. Он – смесь сухаря-бухгалтера с бакалейщиком: под благодушием очевидно самодовольство до отупенья. А вот, в коридорах или на заседаниях, где решают судьбу Германии, Жуков: полководец в бумажных доспехах и с оловянными солдатиками – политическими советниками, которые, на самом деле, командуют всем и вся. Монтгомери похож на ужа. Де Латр – как драчун Сирано, фехтующий с собственной тенью. О Кафке, Джойсе, Прусте эта братия и слыхом не слыхивала. А ведь все мои лавры отныне достанутся ей. Итак, кто мне важнее: маршал Ней или Ламартин, Фридрих II или Гете, Кольбер или Расин? Выбор я сделал. К черту военных, да здравствуют штатские! Разумеется, в выборе моем – излишние буквализм и ребячество. Но любой выбор хромает. Я выбрал по своему вкусу.

Что и говорить, нет пророка в своем отечестве. Свое дело мне придется отстаивать. Буду убеждать методом то кнута, то пряника, про себя презирая род людской. Буду приказывать любить литературу и слушать музыку. И найду к тому способы. Время мое ограничено – оно до тех пор, пока Германия, с нашей помощью, не научится обходиться без нас. И я внушаю друзьям-немцам истины, какие сам исповедую, прошу, предлагаю, заручаюсь доверием. И оказывается, посланник Сен-Жон Перса и представитель Стравинского находят поддержку, и понимание, и уважение, если миссия его бескорыстна. Результат как ни мал, но утешителен, когда речь идет о набитых предрассудками немецких умах. Я просвещаю их, пусть скажут спасибо. Душевную твердость я сохраняю и с немцами, чтобы не размягчиться от



их чувствительности, и с немками, пристающими по другому ведомству. Физическая любовь освобождает меня от последних угрызений. И я не церемонюсь с дурами. Поделом им: они отдаются сами, без зова, в надежде, что получат, хоть на время, подарочки и кормежку не по карточкам. Собой я не урод, не красавец, но хахаль завидный. Офицер оккупационной армии, прекрасно говорю по-немецки, самоуверенно-властный, но малость сердитый, нервный и какой-то растерянный – находка для тысячи безмужних берлинских ариек! Победитель, побежденный оргазмом, – особая сласть! И часто начинают дамы по расчету, а кончают по любви. Берлинки великолепны в постели, становятся непосредственны, необычайно изящны, страстны и, безусловно, искренни. Вдобавок человек я здесь временный. В любви, значит, заранее – сладость обреченности. Все пройдет, останется воспоминание, потом пройдет и оно. Ну а что сердит и строптив – какая красавица не мечтает укротить строптивного лаской? Ночная кукушка дневную перекукует, это всем известно. Охотно позволяю проверить на мне сию истину и претерпеваю опыты, порой потрясающие. Но, множа потрясения, в отместку, однако ж, сокращаю продолжительность связи: три-четыре недели и скатертью дорога.

Любви время, дружбе тоже часок: призову сочинителя, велю сочинить очерк о Сюпервьеле; дам аудиенцию режиссеру, посоветую поставить в своем Хеббель-театре комедию Ануйя; поболтаю с вильмсдорфским муниципальным советником, это преступление, скажу ему, – не включить Бриттена в программу ближайшего воскресного благотворительного, в пользу реконструкции концертного зала, концерта! Осуществляю власть так, как ее понимаю, людей для этого у меня достаточно. И с какой стати мне скучать по тебе? Может, я вообще сгорю, не дожив до тридцати. В данный момент я жажду лишь приносить пользу ближним. И на уровне литературы и искусства готов трудиться с другими уцелевшими сверстниками. Возможно, на этой ниве и отличусь. А своему поколению я обязан всем. Прежде, в военных походах, ничего я такого не чувствовал, но теперь рад служить ему верой и правдой. Однако пока розы нюхать не придется. Германию захватили мародеры. Марка обесценена, черный рынок правит бал во всем. Любовь, дружба, порядочность, дух и культура продаются за кофе и сигареты.

Кофе и сигареты в Штатах в изобилии, заказывать их и торговать ими здесь – прибыльно и ничуть не зазорно. В Германии дефицит, но не голод же. Голодом друзей я морить не собираюсь. Потом неприятностей не оберешься. Человек я разумный, потому в меру расчетливый. Я знаю: тут и там есть ценные картины, скульптуры, марки. Победитель-преобразователь, вроде меня, понимает, что в деле народного образования эта роскошь – ненужная. Выход я нашел быстро. Ты пришлешь сигареты, я их продам и на выручку куплю марки, лучше старые, как минимум вдесятеро дешевле. Свой план предлагаю тебе в письме и тут же заверяю: я не барышник и не мошенник, на черном рынке наживаться не собираюсь в отличие от многих моих коллег, только тем и занятым. Ты мне отвечаешь неопределенно, будто не вполне понимаешь, о чем речь. Переписка оживает, я не предлагаю, я проповедую. Победить не всё, важно упрочить победу, а с волками жить – по-волчьи выть. С какой стати жалеть тебе немцев? Бывает, жалость равносильна глупости. Забыла, что они арестовали твоего отца в Брюсселе во время облавы в январе 44-го? Где погиб он, неизвестно, скорее всего, в Польше, в вагоне для скота на обледенелой железке. Лично я никого не убиваю, но и своего не упускаю.

Я нашел еще один весомый довод: раньше я не особо уважал марочный бизнес, но теперь, если займусь филателией, – значит, пойду по стопам отца и, может, даже продолжу его дело. И ты обязана убедить его и морально меня оправдать, если потребуется. Целый месяц талдычу: да нет же, не стану я барыгой, цель моя благородна, а для осуществления ее требуются средства, мне нужны сбережения, потому что моего оклада хватает на жизнь, но и только. В твоих ответах, как всегда, сначала полное согласие, лотом ослиное упрямство. В сущности, тебе в моей жизни почти все непонятно, а то, что понятно, – неприятно. В ответ я пишу тебе

решительно: обойдусь без тебя, закажу кофе и сигареты через экспортную фирму. А попросил я тебя потому, что считал, что семья – прежде всего. Это, наконец, добило тебя. Ты уступила и шлешь мне четыре посылки в неделю.

Ничего, думаю, стерпится – слюбится. Даже еще вообразишь, что без мамочки сыночка как без рук. Бес преданности оставил было тебя, а теперь вернулся, и ты мнишь, что нужна, и не просто, а позарез. Я поддерживаю тебя в этих мыслях нежными письмами. Ты заучиваешь их наизусть. Купленные марочки я всегда потом продам в Нью-Йорке или Лондоне. Деньги положу в американский банк на твое имя, так что будут в твоём распоряжении. Конечно, дело кажется сомнительным, даже и недостойным нас с тобой. Но это только кажется. Тут у нас все, и маршалы, и послы, и министры, наживаются со страшной силой, причем не по дням, а по часам. И нажива вполне законна. Так называемые обменные пункты действуют в штабах без всякого камуфляжа. У победителей соревнование – кто больше награбит. И чем этот грабеж хуже репарации, которая вообще лишит немцев промышленности и сельского хозяйства на многие годы? Советский Союз отобрал у них треть территории – это считается справедливым. Франция с Англией демонтировали их заводы и прибрали к рукам черную металлургию – чтобы свою скорей поправить. А твой сын куда как скромней, да и человечней. Берет не силой, а лаской. Он голодным бошам вкусного хлебушка, а они ему за это дрянные зубчатые бумажки. Без почтовых марок жить можно, без еды нет. А мы все рабы совести: заставь, как говорится, дурака Богу молиться.

Я еду на тебе, это ясно. Но все это время душой я от тебя далеко. Ты стареешь, и никаких душевных движений и высоких порывов в тебе я не чувствую. Война оставила тебя целой и невредимой, разве что вынудила эмигрировать еще раз. Ты говоришь об этом с жалобным вздохом – вот твое основное занятие. Скрипку забросила, серьезных книг не читаешь, и никакой глубины в твоих чувствах нет. И в жизни моей ничего для тебя нет, разве что несколько строк трижды в месяц, что, мол, все хорошо, когда приеду в Нью-Йорк, не знаю. Ты меня, разумеется, ждешь, это у тебя уже хроническая болезнь. Но что у нас общего, кроме родства? И научишься ли ты смотреть на меня – без себя, моей благодетельницы? Материнская любовь – чудовище, всегда ненасытное. Глушу, как могу, в себе нежные чувства. Главное сейчас – встать во весь интеллектуальный рост или, по крайней мере, подготовиться к нему. А ты мне мешаешь. Лучше помоги: сделай свое дело и уйди.

## Бостон, зима 1959

По приглашению поэта Клода Виже я приехал в Бостонский университет прочесть лекции о современной французской литературе и отдохнуть от собственных литературных писаний. В Нью-Йорке я пробыл всего три дня: как всегда, но с небольшими изменениями. Между мной и тобой состоялся обмен подарками и улыбками, неловкими, смущенными, зато искренними. Хотелось говорить и говорить и рассказывать, но казалось, что другой хочет, наоборот, молчать и скрывать. Признаний-излияний так и не было. Одолевала застенчивость, вполне, впрочем, доброкачественная. Принуждение повело к отчуждению. Я достал подарок – привез тебе из Парижа лаликовскую вазу, – а ты разложила на своем большом диване рубашки, пледы, платки, носки, галстуки. Не в моем вкусе, но для дома сойдет. Зато ваши с отцом отношения, показалось мне, изменились к лучшему. Появилась в них какая-то широта. К шестидесяти пяти годам отец мой Александр Биск, закончив бранить зверства русской революции, вспомнил, что лично он – поэт. По правде, он никогда и не забывал об этом, но теперь вернулся к поэзии телом и душой, с давним юношеским жаром. Исправно посещал литераторов-эмигрантов, прилежно входил в текущую литературную жизнь. Читал Булгакова и первые стихи Евтушенко, вникал в Набокова, считая его, однако, чудовищным циником, изредка обменивался открытками с Пастернаком. Принимая прошлую жизнь отца, я принял и его оправдания. Тридцать пять с лишним лет он занимался скромным, но всепоглощающим и любимым делом. В конце концов, таких, как он, знатоков филателии в мире раз-два и обчелся. Он никому ничего не должен. На старости лет ни в чем не нуждается. В Европу не вернется. Будет жить в свое удовольствие: изредка обед с писателями, сигара дважды в день, бридж раз в неделю и ежедневно после дневного сна кинематограф.

На старости лет отец обрел, на мой взгляд, более свойственное ему счастье и тем подал пример тебе. Ты в свой черед с удивлением обнаружила, что искусство – утешение старости. Постепенно ты перестала носиться со всяким там прекраснодушием. Поняла, что люди не только добры или злы, но и талантливы или бездарны. Ты не знала, на что решиться. В твои шестьдесят девять за скрипку вновь не берутся, тем более если с утра до ночи по радио слышат Хейфеца, Стерна и Менухина. Тут ты знала, что к чему, и на свой счет не обманывалась: слабые ревматические пальцы подведут. Ты сочла, что изобразительное искусство легче, и захотела учиться скульптуре. Одна русская приятельница познакомила тебя с Архипенко, он за гроши согласился давать тебе уроки. Ты умудрилась подружиться с ним, по крайней мере, залучить его к себе на вечера, где, впрочем, фуршет был существенней бесед. Наконец тебе удалось произвести на свет несколько бюстов из глины и гипса, весьма сходных с подлинником: друзья твои позировали довольно охотно. Затем ты отважилась на большее: отлила в бронзе вычурного Дон-Кихота и несколько фигурок, так сказать, абстрактных.

Понятно, не век воспитывать и голубить сыночку. Пришлось тебе переучиваться жить.

Оказалось, занятия изящным искусством не хуже, если не лучше, мечтаний о любимом чаде. Мечтания, конечно, остались, но жила ты не только ими. Правда, иногда, всплакнув, уверяла, что только ими, но я видел – говоришь ты это для красного словца. И радовался, что ты так поумнела, что увлеклась новым искусством. Хотя тоже – с опозданием на полстолетия. И были вы с отцом безумно трогательны: две старые калоши вдруг захотели идти в ногу с веком. Отец променял Толстого на Сартра, Гауптмана на Музиля, Киплинга на Оруэлла. А ты, еще пуще, влюбилась в Эллингтона и Пуленка. Конечно, влиял на тебя и учитель твой, Архипенко. И после обеда ты не ходила больше к кумушкам почесать язык и всплакнуть о русском прошлом, но отправлялась в галереи на Мэдисон-авеню, в Уитни или Музей современного искусства. К тому же в кафе в парке между 5-й и 6-й авеню был потрясающе вкусный горячий шоколад. И хоть знала ты обо всем несколько поверхностно, восторгалась и ненавидела не меньше моего. Достоинно спорила со мной, хваля Бранкузи, Клее, Сёра. Чутье тебя не подводило. Морщилась ты, что у Шагала душа бакалейщика, а Матисс подменяет красоту красотой. А в скульптуре ты оказалась совсем тонка, иногда и профессиональна. О Цадкине говорила не в бровь, а в глаз, и ругала за литературность, а о Липшице сказала, что он плохо кончит, потому что занимается религиозной и ритуальной скульптурой и идет на поводу у богатых заказчиков. Гонсалеса ты открыла только что и носилась с ним как с писаной торбой.

Вы с отцом подхлестывали друг друга. Он к тебе – со своей «открытой Америкой», ты к нему – со своей. Результат вашего культобмена подчас – интересные заявления. Ты терпеть не можешь героев-невротиков, согласилась прочесть тридцать страниц Кафки и объявила, что он псих и выродок. У отца свои откровения. Счел, что абстрактное искусство – месье архитекторов-неудачников. Сюрреалистические образы он попытался понять, растолковать, объяснить – и не смог, но поносить Дали и Макса Эрнста не стал, а сказал только, что стар для всего этого и что у каждого поколения свои понятия о морали, и новые отрицают старые. Получилась из вас чета милых стариков с благородными сединами, хорошими манерами, поклонами-реверансами, которые лет тридцать назад сами вы сочли бы фальшью. И в чем вас упрекать? Только в том, что Штаты для вас – потемки, что ваш английский через пень колоду – смесь французского с нижегородским, что ваш любимый мирок – с 100-й до 34-й улицы и с 10-й до 2-й авеню, а шаг за пределы – уже авантюра, что раз в год друзья вывозят вас в Лонг-Бич и за полтора часа в машине вы якобы успеваете расчухать страну. Блажен, думал я, кто верует. Порой я завидовал вам. Блаженства вашего не могли нарушить даже легкие хвори со старческой немощью. Вот когда я пожалел, что уже не свет я твой в окошке, но ведь поделом мне! Сам к тому руку приложил, бросил тебя, стал парижанином до мозга костей, таким проевропейцем-антиамериканцем. Ты смирилась и изменилась.

Отцово влияние победило. На старости лет он твердо решил выйти из своей старческой скорлупы. Он еще по-прежнему работал, но без надрыва, в день часа четыре. Этим вы и кормились. К тому ж получали пенсию и социальную надбавку, но деньгами не сорили, так что о куске хлеба уже не беспокоились. Тридцать с лишним лет ты пыталась осчастливить сына помимо его воли в угоду своей. Наконец поняла. Твое счастье – это твоё счастье. А вот мое счастье – это мое счастье. Я жажду быть знаменитым, сильным и, главное, самобытным, торжествовать над собой ежедневно и над врагом, чтоб уважал еженедельно, превзойти лучших поэтов, чтоб презреть их и с лощеным цинизмом почить на лаврах. Нет-нет, это не твоё счастье. Тебе скорей ближе счастье отца. Отцовы идеалы юношеские, поблекшие, но милые. Отец вышел из спячки, житейской, пошлой, беспросветной. Большим поэтом, ты знала, он не был. Но теперь ему захотелось написать пару статей о русском языке, прочесть тройку лекций о прозаизмах в «Евгении Онегине», обсудить с собратьями проблему неправдоподобия в «Войне и мире», принять у себя поэтов, уехавших из СССР, выразить им сочувствие – не по-

литическое, а просто сочувствие. Отныне Александр Биск заходил в русские книжные лавки, собирал слушателей, общался с университетскими. Ему потребовалась помощь секретарская и зачастую психологическая. Ты стала помощницей: хорошей секретаршей и по временам хорошим психологом. Вы объявили: ваш девиз – непредвзятость, вы ни левые, ни правые, вы – объективные. Ты знала, как поступать объективно, и однажды отсоветовала отцу участвовать в чеховском круглом столе, потому что там выступал Керенский: хватит гражданских войн!

До меня дорости ты не стремилась: ты мне мать, и, значит, для меня – как бы священная корова, так ты считала. Но для отца ты старалась. И коль скоро он, пусть скромный, литератор, ты тоже не будешь простой домохозяйкой. Скульптура подвернулась как нельзя кстати. Зауважали вас мои сверстники-интеллектуалы. Я даже рот разинул от удивления: вы – настоящие пророки в своем отечестве! А если находился Фома неверующий, в разговоре с ним вы ничтоже сумняшеся именовали друг друга «моя жена скульптор» и «мой муж поэт». Если удивлялись слишком, ты поправлялась, пояснив: «Бывший поэт». Как бы напрашивалась на возражение: «Что вы, что вы, поэт всегда поэт». Обо мне ты и думать забыла. Пускала всем пыль в глаза. Впрочем, эта пыль прекрасно и мило защищала ваш иллюзорный мирок от мира реального. К реальности возвращал тебя отец. С несвойственным ему пафосом он восклицал перед чужаками: «Но истинный артист и творец в нашей семье – сын! Вот, посмотрите-ка, его книги: целых пятнадцать!»

Я занялся делом довольно подрывным: однажды на занятии стал объяснять двадцати пяти студентам в джинсах и лыжных ботинках сравнительные достоинства знаменитого, так сказать, мирского пророка Камю и ничем не знаменитого Чорана. Приготовился прочесть им чорановские афоризмы и заранее предвкушал силу впечатления, пусть отрицательного. Тут меня позвали к телефону – звонок из Нью-Йорка, очень срочно. Звонил отец, голос плохо скрывал волнение. Ты в больнице, днем операция. Я извинился перед студентами и улетел первым рейсом. Два часа спустя я сидел у твоей койки. Из ноздрей у тебя выходили две красные трубочки. Ты вращала глазами и мигала, не имея возможности говорить, Я коснулся губами твоего лба, ты искривила губы в улыбке. У хирурга нашел я отца: он был бледен и казался совсем стариком. Хирург походил вокруг да около, потом перешел к делу: четыре года назад у тебя плохо зарубцевалась язва; ткани разошлись, требуется соединить, необходимы чудеса хирургического искусства; операция продлится четыре часа. Отцу, явно переживавшему, он больше ничего не сказал, и я с глазу на глаз спросил его, каковы твои шансы. Он помолчал, но, понимая, что общими словами не отделаться, прямо ответил: учитывая твой возраст, – один к двум. Я из этого вывел, что меньше: один к четырем или к пяти. Отец хотел просидеть в больнице всю операцию – насилу уговорил его сходить со мной поесть и в кино. Но лангусты и старый фильм с Габеном, оказалось, связывают лучше, чем вздохи и слова.

Чуть позже в больнице нам сказали, что операция еще не закончена, но все идет хорошо. Я заночевал у вас на диване, чтобы не оставлять отца одного. Он был мне благодарен. Наутро нам объявили, что с тобой все в порядке. Не в порядке, правда, сердце, и сердечные приступы, удушье и слабость до конца дней тебе обеспечены. В общем, операция состарила тебя лет по крайней мере на десять. В больнице, пока не встала на ноги, провела ты еще неделю. Затем, решил отец, – поедешь в Лонг-Бич, где бывали вы каждое лето. Зимой там тепло и тихо, открыты только две дорогие гостиницы, выбрать просто. А меня ждал Бостон, но в эти дни я хотел побыть с тобой. Нашим спорам-ссорам пришел конец. Ты, как всегда в трудный час, стала остра и тонка. В палате рассказала мне об отце, о переменах в нем. К ремеслу своему он стал относиться философски: маркой больше, маркой меньше, купил клиент, нет – велика важность! Ты открыла мне тайну: отец нашел свои старые переводы любимого им в юности

Рильке, теперь вот сделал новые и, войдя во вкус, написал свое. И тут же упрекнула меня: я, мол, всегда считал отца в литературе временным человеком, говорил, что для настоящего писателя ему не хватает ни умственной, ни душевной отваги. И был я, оказывается, не прав. Стала доказывать, но тут голос тебе изменил. Пришла медсестра и велела целый час лежать спокойно. Ты говорила с великой мукой, словно объявляла свою последнюю волю.

Отец, конечно, от жизни отстал, но он так мало видел радости. Революция в 17-м, ссылка в 19-м, бегство из Бельгии в 40-м, житье в непонятной Америке... Я сказал: не трать силы на слова, я и так это знаю. Ты попросила стакан воды и еще одну подушку. Чуть позже тебе принесли куриный бульон, ты сказала – необыкновенно вкусно. Хирург похвалил тебя за высокий боевой дух. Заверил, что через пару дней ты и думать забудешь об операции. И ты продолжила речь. Отец – типичный представитель своего поколения. Да, своего, конечно, не твоего же! А уж время, разумеется, все поставит на свои места и покажет, кто из вас прав. Часто оказывается все наоборот. Ты с таким жаром защищала отца, что лучше адвоката и не надо. Но потом вдруг забыла, о чем говорила, стала просто больной старухой и сказала, что трудно дышать. Того и гляди, потеряешь сознание. Медсестра просила меня уйти и до утра не появляться. Утром я принес фиалки, положил тебе на одеяло. О вчерашнем не было и речи. Вспоминала какую-то чепуху. А сама выпрашивала глазами, и, втроем с медсестрой и хирургом, мы с трудом втолковали тебе, словами и рисунками, какая была операция. Ты скептически молчала, а мне, как бы вскользь, слишком спокойно сказала: это рак, бабушка тоже от него умерла, а мы все из жалости, и совершенно напрасно, сговорились молчать. И вдруг опять ни с того ни с сего сменила пластинку. Отец, стало быть, тебе важнее. Слово за слово, вернулась к защитительной речи. Отец прочел тебе стихи. По-твоему, они божественны. Их надо напечатать, ему будет приятно и даже, мол, полезно для здоровья, что кстати, ведь он только-только начал жить, перед тем пустив псу под хвост сорок лет. Стало быть, моя задача вернуться в Париж, выждать полгода, чтоб ничего не заподозрил, и написать ему. Написать надо, что русские парижане образованней и тоньше русских ньюйоркцев и они его поклонники. Даже прибавить, что и писатели из России, проездом бывшие в Париже, о нем спрашивали: помнят его по авангарду времен Бабеля и Ахматовой, а молодежь, напишу, сейчас открывает для себя эти годы и его стихами увлечена особенно. И должен я непременно подготовить один-два сборника отцовых стихов и переводов, и, если надо, ты готова издать их за свой счет. Я поступился принципом не кривить душой и дал слово все исполнить.

Потом я долго говорил себе, какая ты молодец, как заботишься об отцовом душевном комфорте. Бродил по улицам вокруг больницы Бельвю. Местные пустыри только-только стали застраиваться, медленно поднимались стены Линкольн-Центра. Чувства мои были смешанны. Я и жалел, что связался с тобой, втянулся в твою аферу. А все же и радовался, что побыл при тебе, укрепил тебя в мысли, что на меня можно рассчитывать, что сын в любом случае – сын. Но выпил я коктейли – «Кубу либру» в баре на 72-й улице и «Олд Фешенед» на Амстердам, и в мозгу все спуталось. Я испугался, что дал слабину, перенежничал с тобой. Я проклял твое предприятие. Нехорошо мошенничать, даже из любви к ближнему. Отец вернулся в литературу – и прекрасно. Хочет напечатать старое и новое – имеет право. Ну и печатайте на здоровье в Париже. Но зачем врать черт-те что, придумывать «поклонников»? Я выпил третью рюмку. Но мысли переменялись. А я сам – тоже, судья выискался! При чем здесь, к черту, мошенничество? Доброе дело есть доброе дело. Но и себя ругать мне скоро надоело. Ты знаешь отца лучше, чем я. Может, просто думаешь, пусть старик помечтает хоть раз в жизни. И я решил, что сделаю все, как ты хочешь. Может, тебе и жить-то после операции всего ничего. Не объясняя, почему и зачем, я сократил свое пребывание в Нью-Йорке и уехал назад в Бостон раньше, чем ты в Лонг-Бич. И потом на занятиях я два месяца ни за что ни

про что ругал Монтерлана, Клоделя и Жироду и нахваливал неизвестных поэтов. А съездив в Париж, я понял все окончательно про наши с тобой свидания в больнице. Суть проста. Вы с отцом – счастливая пара, и ты, хоть и кричала всю жизнь, где мой сын, мой свет в окошке? – прекрасно без этого света в окошке обходишься. Вскоре вышли две книги отца, и ты радовалась им больше, чем он. Теперь ты могла восхищаться его стихами прилюдно, потому что в душе перестала восхищаться ими сорок лет назад.

## Сезан, Марна, сентябрь 1976

– Что ты всё руки мне целуешь? Подумаешь, руки! А в щеки боишься, да? Что я, не моюсь, что ли? Я, по-твоему, гнию? Вы думаете, я гнию? Ну да, гнию, но не сгнила же еще, правда, сыночка?

– Сегодня я без цветов, у тебя и так их полно.

– Да, как на кладбище.

– Но ведь ты любишь розы. Смотри, какие чайные розы, вон там, у окна.

– И на что они мне? Ты же знаешь, что я уже не чувствую запаха. Гладиолусы я терпеть не могу. А хризантемы впору приносить покойникам.

– По-моему, за тобой тут неплохо ухаживают.

– Конечно, чтобы с тебя содрать побольше.

– У тебя вроде все есть.

– Да все – лекарства, каша, уколы. Души только нет.

– Но тут всего шесть или семь больных. Твой врач сказал, что тебе здесь всё дадут.

– Дадут! Догонят и еще добавят.

– Ты разговариваешь тут с кем-нибудь?

– Разговариваю: хорошая погода, плохая погода, ветер. Они доходяги еще больше моего.

– Но у тебя есть телефон, радио. Телевизор в гостиной, в двух шагах. И даже не в двух, а в одном. Только скажи – сестра с радостью тебя проводит.

– Эта дура, что ли?

– Почему? Она очень милая.

– Тебе милая. Засунул мать черт-те куда, в богадельню, даже не спросил, согласна мать или нет!

– Врачи не спрашивают согласия больного. После двустороннего воспаления легких тебе необходимо пожить на покое. А тут и есть покой.

– Как в могиле.

– Ты во всем видишь только плохое. Считай, что ты на отдыхе. Вокруг поля, ивы. Золотая осень. Запах свежего сена. Смотри, в трех километрах отсюда. . .

– Ты знаешь, что я слепну, и говоришь – «смотри»!

– Ну, извини.

– Нет, это ты меня извини. Я старая перечница. Что ты там еще принес?

– Коробку конфет и киви.

– У меня больше никого нет, кроме тебя. Что бы я без тебя делала?

– Ладно, мама, не плачь.

– У меня внутри ничего не слушается, и глаза тоже. Сердце стучит, как молоток. А ночью я должна звать сестру, чтоб отвела меня в туалет. Ты представляешь, двух шагов и то не



могу сделать без помощи. Какой стыд!

– Ничего, через две недели окрепнешь. Доктор предупреждал, что в один день не выздороветь.

– Знаешь, кот-де-франсовские конфетки стали хуже. Ликера в них теперь меньше кладут. А две попались даже пустые. Всюду жулье!

– Ты хотела пройтись по саду?

– Я оделась не для сада, а для тебя.

– Но прогулка полезна для здоровья.

– Господи, как же все пекутся о моем здоровье! Лицемеры. Дай палку.

– Может, возьмешь меня за руку?

– Нет, дай палку. Мне так лучше. Скажи, я сегодня трясусь не больше, чем всегда?

– Да нет.

– А это что за сверток?

– Это тебе теплая кофта.

– Покажи. Верблюжья шерсть. Почему ты такой транжира?

– Хотел, чтоб тебе понравилось.

– А мне не нравится. Наверняка выбирала твоя жена. Уродина.

– Ты же обещала сдерживать себя.

– А как сдержать большое сердце, старость и немощь? Мне не так уж много осталось жить. Хоть перед смертью скажу правду. Тебе первому.

– Осторожно, тут ступеньки.

– На днях я тут села, на самом ветру. И никого не было мне помочь. Я вижу, ты хочешь, чтобы я говорила о другом? Так вот, не нужны мне твои подарочки. Не люблю ни твою жену, ни тебя при ней.

– Будь ты пронцательней, то поняла бы, что я упрямый в тебя и я никогда ни при ком, а всегда сам по себе. Ни от кого не завишу.

– У тебя на все есть оправдание. Сколько ты отдал за кофту?

– Не важно. Надень ее сегодня же.

– Конечно, надену. Все, что от тебя, – радость. Пстой-ка. Тридцать шагов пройду – больше не могу.

– На прошлой неделе ты и десяти не могла. Вот видишь: ты уже поправляешься.

– Просто сегодня я хорошо спала, со мной такое редко бывает. Мне снился твой отец. Высокий, красивый. Читал стихи на берегу какой-то большой бурной реки. Боже ж мой, это я его убила!

– Перестань. Ты тут ни при чем. Сотый раз тебе говорю.

– У каждого свои раны.

– Но зачем растравлять их?

– Я же не чурка бесчувственная, как некоторые.

– Я не бесчувственный, просто я переживаю по-своему.

– А никогда не покажешь.

– Выставлять напоказ чувства – дикость.

– Скажи еще, что я дикая. Ты-то со своей женушкой не дикие.

– Давай посидим на скамейке. Уже и листья падают.

– Терпеть не могу хозяйку. У нее одни деньги на уме. А муж ее – приятный человек. Португалец. Видишь, сарайчик за деревьями? Он хочет устроить там гончарную мастерскую. Показывал мне вазы: сам сделал. Настоящий художник, принес мне изюму, но просил не

говорить жене. И дал прочесть книгу про глиняные изделия. Я ведь лепила из глины. . . Ах, как летит время. . .

– Уверяю тебя, ты еще сможешь работать, когда поправишься.

– Красивая страна Португалия. Он меня пригласил туда к своей родне на будущее лето. А мне так не хватает солнца и моря. Куплю билет. Всего-то два часа лету.

– Ты же никогда не летала.

– А ты вечно все усложняешь.

– В твоём возрасте летать не просто.

– Это мы с ним обсудим. А в Португалии хорошо.

– Хорошо там, где нас нет.

– Но здесь же сущая тюрьма!

– Поправишься, переедешь.

– Поправишься! Переедешь! Пустые обещания.

– Послушай, мама, не глупи, сейчас тебе нужен покой, доктор ясно сказал.

– Мало ли что доктор сказал. Вы втроем сговорились, он и ты с женой. Успокоили меня под замком, это да. А в Португалии, я слышала, огромные эвкалипты. Ты время не пропустишь?

– Сиди здесь, я принесу тебе чай с конфетами.

– Хочу в Португалию.

– Надо спросить доктора.

– Вы все считаете, что я выжила из ума. Я же не слепая, я все вижу. И этот ваш шахер-махер тоже.

– Какой шахер-махер?

– Сам знаешь какой.

– Если тебе что-то нужно, так и скажи.

– Я хочу к твоему отцу. . . Что молчишь?

– Твой хозяин прав. Португалия – прекрасная страна. В лиссабонском музее потрясающий Босх – монахи верхом на летающих рыбках. Один из лучших современных поэтов, Фернанду Песоа, тоже португалец.

– Послушай, а что, если я вернусь в Нью-Йорк? Твой папа меня очень ждет.

– Ты прекрасно знаешь, что папа умер.

– Ничего подобного.

– Скоро созреют твои любимые груши, дюшесы.

– Думаешь, я совсем спятила?

– Ну что ты, просто устала.

– Я хочу уехать.

– Ну вот, заладила. Тебе нигде не сидится. Поживешь два-три месяца – и рвешься уехать.

И от меня уехала из блажи.

– Блажь? Эта твоя жена, немая мегера, – по-твоему, блажь?

– Она тебе ничего плохого не делала.

– Не делала, зато думала.

– Она тебе слова поперек не сказала.

– А лучше бы сказала, чем волком смотреть.

– Ты знаешь, что тут я с тобой никогда не соглашусь.

– Потому что боишься ее. Хорохоришься, умничаешь, а сам жалкий трус.

– Тебе, как я вижу, стало получше. Так что давай не будем.

– Нет, будем. Хочу сказать и скажу и тысячу раз повторю, если захочу.

- Ну конечно. А зачем ты сбежала из Анетского замка, ни слова никому не сказав?
- Потому что там жандармы. Они заставляли есть в одно и то же время. Опоздаешь на пять минут – не получишь супа. Просто концлагерь какой-то! Все по звонку.
- А из отеля «Аржансон»? Ведь тоже сбежала. . .
- Я должна была побывать на могиле отца.
- И тут плохо, и там нехорошо. . .
- В этом мире мне теперь везде плохо.
- Неужели здесь тоже? Здесь так спокойно.
- Одиноко, по-твоему, – значит спокойно? А с совестью как быть?
- Врач же прописал тебе успокоительное.
- Душу не успокоишь. Вы хотите, чтоб я стала как лапша вареная, как картошка – наступишь, и нету. Не дождетесь. Твой отец теперь святой, он меня защитит.
- Ну почему мы должны непременно ссориться?
- Ты сам виноват.
- Наверное, я плохой психолог.
- Ужасный. Боже мой, у меня совсем не осталось друзей!
- Но я же знакомил тебя с разными людьми! А помнишь, двоюродные братья? А Наденька Красинская, одесская подруга молодости?
- Старая грывза, у ней только и разговору что о покойниках. И уровень развития у нее слишком низкий. И вообще, все, что она говорит, мне совершенно неинтересно. Хватит с меня страданий. Не хочу новых. Хочу к твоему отцу.
- Мама, надо жить – сегодня.
- А прошлое и есть сегодня, и даже завтра, и послезавтра, можешь ты это понять? Боже ж мой, наверно, вы правы. Как по-твоему, я совсем спятила?
- Нет.
- Ты говоришь одно, а думаешь другое. Потому что после этих лекарств. . . у меня с головой не все в порядке. Так и скажи.
- Ты просто устала.
- Ну да, и мне нужно отдохнуть. У вас только и разговору что об отдыхе.
- Потому что он тебе действительно необходим.
- Ты знаешь, сыночка, я же все понимаю. И врешь ты мне меньше, чем другие. Дорогой ты мой. А я тебя обижаю. Я, сыночка, страдаю от этого еще больше, чем ты. У меня иногда впечатление, что я, ах, Боже ж мой, разваливаюсь на куски и что я – уже не я.
- У тебя нарушено кровообращение. Кровь не всегда в достаточном количестве поступает в мозг. И оттого все твои «впечатления» и головокружения. Только в этом дело.
- И все ты врешь. Говоришь, чтоб меня успокоить.
- Нет, просто не поддаюсь панике.
- Ты бесчувственный. Ну откуда ты взялся такой бесчувственный?
- Будь я бесчувственный, плевал бы на твои оскорбления и на все остальное.
- Может, у меня с головой и не в порядке, а у тебя с душой. Уходи!
- Гонишь меня?
- Потому что, когда тебя нет, мне кажется, что ты хороший мальчик. Ты совсем изменился. Тебя подменили. И ты знаешь кто.
- Не хочешь прогуляться до дороги?
- Нет, хочу вернуться. Чаю выпьешь?
- Если хочешь. Через десять минут за мной заедет знакомый с машиной.

– Я так и знала, что ты не засидишься. Сорок минут с матерью тебе выше головы. Знаю я тебя, эти твои машины – одни отговорки! Напустишь на себя важный вид, как будто ты министр и очень спешишь, сунешь мне дрянную тряпку, кофтенку, чтобы задобрить, и пропадешь на неделю. А потом позвонишь и скажешь, что должен съездить за границу. А на самом деле вранье, чтоб реже бывать у матери.

– Ты могла бы быть полюбезней.

– Хватит с тебя жены. Уж она-то у тебя любезная, змея подколотная.

– Вот видишь, я же прав.

– Сыночка, ты всегда прав. Ты скажешь мне правду?

– Какую?

– Папа погиб?

– Ты же знаешь, что да, три года назад, первого мая семьдесят третьего года.

– Боже, как давно! Но вам все равно его у меня не отнять, он всегда со мной. Как тебе чай?

– Душистый.

– Что с тобой? Ты хочешь что-то сказать? Что такое?

– В прошлый понедельник ты собрала чемоданы. Мне сказала хозяйка.

– Мне давно пора домой.

– Твой дом сейчас здесь. А ты просила медсестру взять тебе билет в Париж.

– Потому что в «Аржансоне» мне хорошо. И хозяин – такой милый человек.

– Одна ты бы не доехала.

– Ну да, померла бы в пути, и слава Богу! Толстой тоже помер в пути. А он был моложе меня. А ты бы и рад был, в общем-то. Только совесть бы тебя замучила!

– По закону тебя нельзя здесь удерживать.

– По закону, не по закону! Еще жандармов позовите.

– Обещай мне, что не сбежишь.

– Раз уж тогда не сбежала. . .

– Приступ случился, потому и не сбежала. Ты спишь и видишь уехать. Никак не угомонишься.

– По-твоему, я должна притворяться и заверять тебя, что всем довольна! Счастливая старая карга! Так тебе спокойней.

– Послушать тебя, твоя главная радость – когда я беспокоюсь.

– Ну давай, давай, говори все до конца.

– И скажу.

– Хочешь еще конфету?

– Все-таки де Голль лучше, чем этот Гишар.

– Не Гишар, а Жискар. Гишар – министр.

– Жискар. . . как-то там дальше. . .

– Жискар д'Эстен.

– Слишком длинно для меня. А он со вкусом. Но Помпиду выглядел честней. Мне нравятся толстые политики. Такое лицо, как у Помпиду, очень трудно вылепить. У него черты нечеткие. Или уж тогда будет карикатура. Посмотри на Черчилля. Вот для скульптора находка. И Троицкий тоже. И немец, этот, как его?

– Аденауэр?

– Нет, молодой, с глазами бездельника.

– Брандт?

– Да, да! Вот это модель так модель! Что молчишь? Ну да, тебе плевать на мою скульптуру.

- Просто ты еще слабая. Доктор что сказал? Понапрасну – никаких усилий.
- И никаких удовольствий, кроме как сикать да какать?
- Мне нравится твоя бодрость.
- А, ты принес мне Тургенева! Ах, какой он джентльмен. Какой он элегантный!
- Элегантный, но не глубокий.
- Ох, уж эта ваша нынешняя глубина! Знаешь, что я тебе скажу? Ваша глубина – это все запутать так, чтобы потом не распутать.
- Хочешь перечесть Тургенева?
- Я теперь с такой головой читаю одну страницу три дня. Смотрю в книгу, вижу фигу. Но ты этого не слушай, а то еще решишь, что я выжила из ума. Выжить-то я, может, и выжила, но тебя это не касается. И не смей требовать у доктора справку, что я в маразме.
- Не потребую, не бойся.
- А я не тебя боюсь, а твоей женушки.
- Не вмешивай Марию в наши дела.
- Через месяц ты сдашь меня в богадельню, я уверена
- Я подышу для тебя прекрасный пансион в Каннах, с мимозами и пальмами.
- Спасибо, сыночка. Уж и не знаю. . .
- Я тебя утомил.
- Ну ты совсем дипломат – намекаешь, что сам от меня устал и сейчас уйдешь. Боже, твой отец был такой внимательный! Приносил мне газеты и показывал, кто из знаменитостей хорош для лепки. Это он показал мне герцогиню Виндзорскую с ее кривым ртом. . . Я за нее раз десять бралась. . . А Юл Бриннер. . .
- Актер?
- У него был такой интересный череп. Очень интересный. На гладком шаре вена вьется, как змейка. Ты не представляешь, как это интересно. И у Никсона тоже нос сапогом. Что о нем, кстати, слышно?
- Он жулик.
- Но с русскими он знал, как себя вести. Габена тоже интересно лепить, только старого, когда он уже толстый и злой. Наверно, у него шикарная физиономия!
- Хочешь его фотографию?
- Хочу ли я фотографию! Он еще спрашивает! Да отец завтра же мне принес бы целую кучу фотографий, и таких, и сяких, и не знаю каких!
- Но тебе же пока нельзя работать.
- И мечтать тоже нельзя? Ты такой жестокий, что даже мечты у меня отнял. Дескать, старая развалина знай свой шесток. Подышаешь и подыхай. Вот вы какие, интеллигенты!
- Мама, не надо.
- Увидел бы тебя отец, снова умер бы.
- Успокойся.
- А я и не волнуюсь. Он в последние годы опасался тебя.
- Неправда.
- Конечно, неправда. Он обожал тебя так свято, так трепетно! Но должна же я тебе что-то ответить!
- У тебя нет никакой логики.
- Зато у тебя ее чересчур много.
- Мы с тобой никогда не договоримся.
- Сережа меня тоже бросил.
- Твою любимым племянник приезжал к тебе две недели назад, забыла?

- Обещал приехать, а сам не приехал.
- Ты забыла. Я же сам его привозил.
- Все вы заодно. Будете теперь говорить, что он приезжал. . .
- Ну да, приезжал из Лондона. . .
- . . . и посадите меня в дурдом.
- Хочешь, напишу ему, чтоб он подтвердил?
- Ладно, просто у меня опять провал в памяти. Мне здесь хорошо. Спокойно.
- Ну и прекрасно! Вот твой чек за этот месяц, подпишешь?
- Ни за что. Вы меня обкрадываете.
- Без твоей подписи денег не получить. А если не получить – чем платить твоей хозяйке?
- А сколько твоя женушка прикарманит моих денег?
- Мне надо отвечать?
- Ишь, какой хитрый.
- Хочешь, найми адвоката.
- Только адвоката мне не хватало! Да ни за что!
- Тогда доверяй мне.
- Хочу доверяю, хочу не доверяю. Я, наверно, влетаю тебе в копеечку.
- Твой чек покрывает треть расходов на тебя.
- Ох, умирать – дорогое удовольствие. И зачем ты мне это говоришь? Я не желаю знать, что ты из-за меня разоряешься.
- Ты же говоришь, что я вор. Должен же я. . .
- Ничего ты не должен. Твой отец тактично промолчал бы.
- Отец никогда не просил тебя подписывать чек.
- Отец заботился обо мне.
- Сколько можно повторять одно и то же?
- Хорошо, не буду. Подписываю в последний раз. Отец не мучил меня пустяками.
- И не-пустяками тоже.
- Не смей чернить его память!
- Его память мне дорога, как и тебе!
- Ты никогда о нас не думал.
- Просто была война.
- Ты забыл нас еще до всякой войны.
- Исказить прошлое – проще простого.
- Ты приносишь мне подарки, а я только и знаю, что тебя оскорблять. Видишь, до чего я докатилась. Сердце изнашивается, чувства все перепутались. То такие прекрасные, нежные, то вдруг скисли. Как молоко.
- Я тоже тут виноват.
- Надоела тебе мать, скажи честно?
- Чепуха.
- Да, сыночка, все – чепуха. И что мать умирает – тоже чепуха. Обычное дело! Я же говорю, увидел бы отец – второй раз умер бы. И третий, и пятый, и десятый. Потому что ты и есть его убийца.
- Не мучай сама себя.
- Отец – святой человек.
- Святой, потому что ты скучаешь.
- А скучаю, потому что ты не смог заменить его.
- Я стараюсь.

- Стараешься обидеть! Отец был добрый.
- Ты забыла, как он злился?
- Захотела – и забыла.
- Очень удобно: хочу – помню, не хочу – не помню.
- Так с матерью не говорят.
- А с сыном так говорят?
- Твой отец – святой.
- Ну, пожалуйста, тверди на здоровье. Твори себе кумира, если тебе от этого легче.
- Боже, какой ты равнодушный!
- Просто не вижу необходимости обожествлять человека. Скажи еще, что он гениальный поэт, не хуже Расина и Гете.
- Не богохульствуй.
- Логика у тебя железная. Поздравляю.
- С тобой невозможно ни о чем говорить.
- По-твоему, говорить – это нести чушь.
- Откуда ты знаешь, может, через двести лет его будут читать, а тебя забудут.
- Забудут и меня, и его, и даже тебя.
- Хочешь сказать, что мне незачем жить?
- Прости. Забыл, что с тобой нельзя на равных.
- Ты же первый кричишь, что равенство – чушь.
- Но не с матерью же.
- Ты уверен, что мои деньги целы?
- Твои деньги в банке. Можешь проверить в любой момент.
- Я не ты, я тебя не проверяю.
- Ты же говоришь, что я вор.
- Если вор, то только с моего разрешения.
- Да не трогаю я твои гроши.
- Твой отец всю жизнь работал, чтобы оставить мне эти гроши. Если бы я понадеялась на тебя, то теперь умерла бы с голоду.
- Думаешь, это очень приятно – все, что ты говоришь?
- Говорю, как думаю.
- Машина уже ждет.
- А ты так ничего и не решил. Может, снимешь у меня со счета деньги на отдых?
- Без твоей подписи нельзя.
- Хочешь, укради немножко. Так, чтоб не очень заметно. У матери своровать не грех. Мать простит.
- Мне не нравятся твои выражения.
- Подумаешь, умник! Начитался, а знаешь все только по верхам.
- Тебе непременно надо довести меня. И непременно за что-то простить. У тебя прекрасная роль.
- Ты меня плохо знаешь. У меня сердце огромное, как океан.
- Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну вот, подбородок дрожит. Сейчас заревешь. Напрасно, не поможет.
- Господь да простит тебя!
- Не кривляйся. Ты же не веришь в Бога.
- И потому иногда страдаю. Вообще-то иногда я молюсь. . . молитва помогает.
- Как снотворное.

- Ты такой же Фома неверующий, как и твой отец.
- По крайней мере, тут мы с ним похожи.
- Не клевети на него. Он настоящий поэт.
- Почти как настоящий.
- Во всяком случае, его я стихи понимаю.
- А мои – нет. Да ты уже двадцать лет моих книг не открываешь.
- Они, как вообще все теперь, тяжелые, непонятные и неприятные.
- Я не могу жить вне времени и пространства.
- Ты нарочно пишешь так, чтобы я не поняла.
- Конечно, нарочно.
- А у меня, к сожалению, не получается.
- Что не получается?
- Сам знаешь что.
- Не знаю.
- Умереть. Умереть – уметь надо. Вот и приходится жить, дожидаться смерти.
- Что у тебя за мысли!
- А какие у меня еще могут быть мысли! Вчера вечером выпила две лишние таблетки. Но меня просто вырвало.
- Хозяйка сказала, что это несварение.
- Это самоубийство.
- Тогда это глупость.
- Твоя мать вообще дура. Ты даже не просишь меня больше так не делать!
- Прошу.
- Так не просят. Говоришь, а сам через пять минут полетишь на всех парах и пошлешь свою бедную мать к черту.
- Я вернусь самое позднее через неделю.
- Ты всегда так говоришь. А потом никогда не приезжаешь. Для тебя эти приезды – тяжкий крест. Ты устаешь еще больше меня.
- Ты будешь хорошо себя вести, ладно?
- Хорошо себя вести и радоваться своей убогой жизни. И ждать тебя. Да, совсем забыла. Тот желтый пакетик, на камине, дай-ка его сюда. Не ты один даришь подарки. Я тоже. Это портсигар из крокодиловой кожи. Тебе на день рождения.
- Потрясающий. . . У меня день рождения через полгода. Зачем ты потратилась?
- Через полгода, ну и что? Через полгода меня уже не будет на свете. Вот и хочу поздравить заранее.
- Ты еще повоюешь.
- И потанцую с кавалерами! Ну, нравится хоть немножко?
- Очень нравится. Очень!
- Ладно, там твой приятель сидит в машине. Езжай. Не целуй меня, а то получится, что из корысти.
- Мама, спасибо.
- Скажи своей женушке, что она ведьма. Скажешь?
- Скажу, мама.



## Брюссель, осень 1925

Ты вбежала в родительскую гостиную. На тебе было длинное коричневое платье. Полтора года назад в Болгарии ты коричневый цвет терпеть не могла. Ты немного пополнела, и это тебе очень шло. Волосы твои, прежде короткие, отросли до плеч. Секунду ты, похоже, колебалась: кого поцеловать первым? Отца, мать или сына? Раскинула руки, рванулась грудью вперед, но осталась на месте, словно остолбенела от переполнявших чувств. Тогда мать подошла к тебе, и вы с плачем обнялись. Ты снова заколебалась: отец или сын? Я отстранился – как бы скромно давая понять, что уважение к старшим превышает всего. Ты поцеловала отца горячо, но сосредоточенно-сдержанно. Никаких, следовательно, сомнений: мать для тебя превышает всего, и пусть все это видят. Я отступил на шаг: счастлив, что ты рядом, но не верю, что и правда рядом, потому что за время долгой разлуки совсем отвык от тебя. Я растерялся и молчал. Ты подошла ко мне не сразу. Осмотрела меня, разразилась восклицаниями с рыданиями вперемежку, восхитилась моим ростом и видом: вырос на целую голову и щеки – кровь с молоком. Я хотел подбежать прижаться к тебе, но ты отвернулась, подошла к матери, и снова поцелуи. «Спасибо, спасибо, спасибо», – твердишь ты шепотом, быстро, прерывисто. Затем к отцу – распрямилась, крепко жмешь ему руку: первым делом – благодарность. Прошло уже минуты три. Наконец ты расслабилась, мелким шажком подошла ко мне, опустилась на колени, чтобы головой к голове. Молчишь и медленно-медленно гладишь мне волосы, лоб, нос, плечи. Дед с бабкой засуетились у стола с огромным заварочным чайником и пучками цветочков, маков и васильков, у каждой тарелки. Отец, стоявший молча, роняет дежурные любезности.

Мы с тобой – островок посреди них. Они – странно мутнеют, расплываются, они отдаляются, отдаляются. И мы их не слышим уже и не видим. Ты продолжила осмотр. Молча и жадно вглядывалась в каждую черточку моего лица. Наконец поднялась, взяла меня за руку, огляделась, подвела к балкону, открыла балконную дверь. Перед нами три густых дерева. С ними да еще с небом ты поделилась нашей встречей. Сказала мне – вдохни глубже, и мы вдохнули пространство. Ты не хотела делиться радостью с ними, с теми, кто далеко-далеко в двух шагах занимались чаем, тортом, цветочками. Ты говорила коротко и сама понимала, что слова – не то. Я был доволен. Интересно, думал, что теперь, с твоим приездом, изменится? Бабушка вышла к нам на балкон – по морщинке у тебя на лбу я понял, что нехстати. Третий оказался тут лишним. Нас позвали к столу. Обняла одной рукой меня, другой – мать. Глаза умоляют: дай еще минутку побыть с ним вдвоем. Но нет, никаких минуток, не положено.

Ваши разговоры я понимал только наполовину. Отец, показалось мне, стал чопорней, чем в прошлом году. И я тотчас возненавидел его трость с набалдашником. Дед с бабкой говорили с ним церемонно и вежливо, он так же вежливо отвечал им. Мне казалось все это фальшью. Было неприятно, вдобавок затощило от торта с кремом. Те, кто любили меня, образовали

невыносимо тягостную массу. Сидеть было неудобно, ноги затекли, я ерзал и дергался. Вы любезничали друг с дружкой, один немногословно-скованно, другой громогласно-страстно. Я гадал, кто из вас больше радуется семейному сбору. Долго смотрю на бабушку: вся она – одна сплошная улыбка. Бабушка рада, но с чувствами вполне справляется, от радости с ума не сходит, говорит совершенно спокойно. Дед доволен, но, судя по бородке, приподнятой к люстре, скорее – самодоволен; царь и бог по старшинству вправе задавать вопросы и не торопиться отвечать на любезности; он полон сознания выполненного долга: ему поручили чадо, и с поручением он справился, сделав из чада воспитанного мальчика по всем правилам обывательского хорошего тона, когда всего в меру – знаний, хороших манер, здорового тела и здорового духа. А отцу явно не по себе; он, выходит дело, неудачник: бежал из России, искал счастья в Болгарии, не нашел, вернулся в Бельгию отыграться; за столом все, кроме меня, – его судьи, они тактичны и участливы, они дают ему время встать на ноги, они говорят ободряюще, но, когда умолкают, молчанием спокойно и неизменно высказывают осуждение.

Все, что я видел и знал, вещи, лица, чувства, делил я на три категории: прелесть, дрянь и не знаю что, но мне – неприятность. Отца в данный момент отнес я к категории «дряни». Он слаб и безволен, и лицо у него озабоченно, будто наша встреча ему – головная боль. Показалось мне, что он намеренно неловок, не потому что застенчив вообще, а потому что стесняется говорить о своих планах. В конце концов, он и сам толком не знает, что предпримет и как прокормит семью, но ведь имеет право осмотреться, присмотреться к забытой стране, а уж потом что-то решить. А вот дед с бабушкой – в категории «прелести». Дед, по-моему, порой слишком со мной строг, но великолепен, а бабушка хороша, потому что сдержанна, да и незачем ей быть несдержанной, я и так все читаю в ее душе.

К какой категории отнести тебя, я пока не понял: «прелесть» ты или «дрянь»? С одной стороны, всей душой, безумно рвусь к тебе, с другой – тихо, покорно отступаю, отгораживаюсь. Чувствую: я счастлив, но и немного несчастлив, потому что для сохранности счастье нужно загонять куда-то в себя. А может, не загонять? Но если я так трясусь над ним, значит, твоим приездом не только осчастливлен, но и малость разочарован? С каждой минутой ты все ближе к третьей моей категории «неприятность». Пришлось еще поломать голову и съесть еще кусок торта, чтобы осознать свое бессердечие. Тут меня заела совесть, и я бросился в другую крайность, перестал придирается и осуждать, попытался одобрять, оправдывать. Я следил за каждым твоим жестом и словом. Все в тебе было сплошное ликование. Ты говорила: жизнь хороша и будет еще лучше, потому что наконец мы вместе. Планов у тебя миллион: найти дом на опушке леса; отдать меня в школу для детей из любых семей, и простых тоже, правда, только не из самых простых; договориться с организаторами концертов и выступать; завязать знакомства в музыкальных кругах; помогать отцу в его марочном бизнесе, пока он не сможет нанять секретаршу. . . Тебе никто не возражал. Дед слушал и глядел скептически, словно говорил: жизнь покажет, что почем, отобьет охоту строить воздушные замки. А бабушка, наоборот, поддакивала. Бабушка – идеальная мать. Я даже огорчился, почуяв ваш возможный в будущем твой и ее заговор против меня. Реакция отца меня ужасно удивила. Он кивал, изо всех сил делал благожелательное лицо, но совершенно не вникал в разговор, отмалчиваясь и отделяваясь этой своей благожелательностью. . .

Я попросил разрешения выйти из-за стола и притулился где-то в углу у двери: нет, решительно, дорогие-любимые против меня! Бедная моя постелька, между кроватями деда с бабушкой. В ней так хорошо, правда, тесновато. Я слегка вспотел от волнения. Дадут мне проспать в любимом уголке хоть пару ночей или сразу конец? Волненье превратилось в панику. Перепил, должно быть, крепкого чаю. Я подбежал к тебе и, обняв, стал умолять не отнимать у меня белую мою кроватку с розовыми подушками. Ты усадила меня к себе на колени,

восхитилась – какой я тяжелый, какая прелесть! Но нет, как ты сказала, так тому и быть: у меня будет новая кровать, к тому же и собственная комната. Я вернулся в свой угол у двери, и страхи удвоились. А вдруг не пустят гулять с Леонтиной, консьержкой, с которой ходили мы каждый день за покупками в ближние лавки? Я уже знаток: у Бриньоля самые вкусные груши, а Верстретен – пьяница, жулик и обвешивает, а в булочной хозяйка, Фрицке, даст поиграть с тестом, таким тянучим-тянучим, а в бакалее у Дельхеца можно побыть подольше, подышать лучшим на свете запахом цикория, ярко-красного перца, корицы и сухофруктов, особенно кураги, а иногда зайти к мадам Доз, портнихе, у нее выкройки прямо из Парижа и самые последние сплетни, и говорит она много-много, и неужели я больше не посижу у нее в кухне на табуретке, пока она чистит картошку и рассказывает мне, потому что знает абсолютно все про королевскую семью: бедняжка Шарлотта, вернулась из Мексики совершенно спятившей, о Господи, а король-то Альберт, он же всю войну просидел, как уперся, на своем клочке земли, и немцы шиш с ним справились, а герцог-то Немурский, который при Луи-Филиппе, он все строил козни в пользу племянника, Леопольда II, а тот чуть было не скупил на корню весь Китай. . .

Может, и с Баллоном запретят мне играть. Баллон – спаниель с пятого этажа. Его хозяин, сморщенный старичок, выгуливает его вечерами, когда дед обычно гонит меня спать. Но по субботам, если старичок позовет, мне позволено погулять с ними полчаса. Я горд, что у меня друг спаниель и что на курточке у меня – сохляя Баллонова слюна. Дергаю его за усы, тычусь головой в песью морду. Он не против, старичок тоже – Баллон в жизни никого не укусил и лает только на трамвай – тьякнет, и все, а на других собак вообще ноль внимания. Баллон переходит от дерева к дереву, принюхивается, писает, с трудом несет себя, грузного, боится слезть с тротуара, точно внизу пропасть. У витрины встанет на задние лапы, навалится на стекло и надышит мокрый кружок. Когда я в ударе, а Баллон в настроении, сажусь не чинясь на него верхом. Пронесет меня метров десять-двадцать, потом стряхивает: хватит, хорошего понемножку. Другие дети боятся его, но я смеюсь над их страхами, на меня-то Баллон не заворчит. А еще у меня есть приятель Адриан Бувер, мы встречаемся дважды в неделю на лестнице, беремся за руки и идем спорить: сколько машин проедет за минуту на углу улицы Мазюи. У Бувера потрясающие часы, подарок отца за то, что хорошо себя вел, пока мать была в больнице. Его рассказы меня занимали, часы завораживали. Бувер, как правило, проспоривал: тридцать три, тридцать четыре машины, без верха – шли за две. Если дождь, сидим на сололке в подъезде у каморки Леонтины, с карандашом и листком бумаги. Выберем букву и пишем в столбик города. Время – минута. Я спец по букве «В», потому что изучил энциклопедию. Строчу, как пулемет: Вена, Вербье, Виши, Виченца, Вольтерра, Виборг, Вито, Витри-ле-Франсуа. Для пущей сложности берем две буквы, согласную с гласной «ВА». И опять, как пулемет: Валенсия, Валансьен, Вальядолид, Вальпараисо. Мечтаю о сказочных городах, летучих, как ковры-самолеты над багдадскими минаретами. Буверовские часы – судьи: либо я ему пятнадцать шариков, либо он мне фиалковые ириски.

Ты окликнула: что я там забился в угол? Вид у тебя был победно-наполеоновский, и родные ничуть тебя не осуждали. А говорила ты не просто как победитель – как диктатор. Помнил я тебя сумасбродкой, слабачкой, трусихой, а теперь увидел воительницу, борца со всеми и с собственной трусостью. Ты бросила вызов Бельгии. Ты ждешь от нас поддержки, и с ней тебе все нипочем. И не желаешь ты гадать, что да как. Меньше слов, больше дела. А мы и не спорим. Мы, разумеется, – твои союзники, тут и думать нечего. Ты, видимо, заранее решила, что мать поможет во всем: она здорова, значит, вполне в силах. И наверно, за эти полтора года разлуки ты успела в Болгарии обратить отца в свою веру: главное – семейное благополучие, достойное тебя, меня, нас всех. Ты ничего не требовала. Только,

дескать, смирись с изгнанием, работай по десять-двенадцать часов в сутки и забудь Россию и химеры прошлого. . . Вдруг ты глянула на меня с беспокойством. А может, дед с бабушкой воспитали не так и я – не то, чего ты ждешь, не любящее дитя? Тем более в разлуке – раз ты с глаз моих долой, то и из сердца вон? Может, я больше люблю деда-патриарха, может, забил он мне голову прекрасными бреднями о жизни, вере и нравственности и от реальности я оторван? Или, может, я слепо боготворю бабушку оттого, что она держится достойней тебя, и отдал ей любовь, которую должен был родной матери? Обо всем этом гадал и думал я сейчас общо, сумбурно: то ли так ты чувствуешь, то ли не так, а как в точности, не улавливал.

На миг ты умолкла, словно опускаая ненужные тонкости. В общем, на тебе – ответственность за нас, а ответственность, согласно твоему буржуазному воспитанию, – это верность мужу, любовь к ребенку, внимание и уважение к родителям. А я уже большой, кое-чему, как положено, научился, приобрел словарный запас и, может, даже уже не считаю, что я – пуп земли и что мне все позволено. Что ж, и прекрасно. Дед и бабушка справились с делом. Осталось избавить меня от ненужных привычек и привязанностей, какие я и сам очень скоро забуду. Я тут же испугался за Леонтину, Баллона и, в меньшей степени, за Бувера. И пес, и люди эти, и всякая соседская дребедень – ни уму, ни сердцу, и я, по-твоему, скоро сам это пойму. Ты заполучила свое назад и вольна распоряжаться. Я – твоя собственность, и, ежели я того не понимаю, ты объяснишь – мягко, но внятно.

Таким полководцем я тебя раньше не видел. Но «неприятелем» оказался – я, потому отступил к отцу. Отец, в свой черед, посадил меня на колени. Он явно не знал, о чем говорить с выросшим мальчиком, и принялся рассказывать мне сказки, как полтора года назад. Я сказал, что у него слишком костлявые колени, и пересел к бабушке. Ты глянула на нее как-то и доверчиво, и подозрительно, мол, свое бери, чужого не трогай. Бабушка погладила меня по голове и подтолкнула к тебе: хозяйка – мать. Ты продолжила речь. Заслуги отца налицо. Он отстоял свой выбор и доказал маловерам, что марочное дело – тоже дело. Марки – искусство в миниатюре, и в них, не меньше, чем в графике, надо уметь разбираться. После торта подали фрукты. Фрукты освежили тебя – о чем разговор, мы же все согласны, – но не успокоили. Наконец ты заметила дедов скептицизм. Дед считал, что Запад тоже не рай и Бельгия не Земля Обетованная. Сказал, что бельгийцы, как бельгийский климат, – серы и холодны. Да как он может так говорить! Бельгийцы – это Сезар Франк, Анри Вьётан, Эжен Изаи! В Бельгии прекрасно, Бельгия ждет не дождется музыкантов и благодарно распахивает перед ними двери к славе! Тут я решил, что ты все же ни в какие ворота не лезешь и что мне к тебе не приспособиться: нет в тебе простоты. А значит, твой приезд – катастрофа.

## Лондон, апрель 1944

Утром пришло донесение от одного из лучших наших агентов под кодовым именем Себастьян К-3: обнаружены два укрепления на шоссе 219 близ Эперлекского леса в пункте, называемом «Калифорния», за тысячу триста метров к югу от деревни Мэнк-Ниерлит. Разворачиваю карту, масштаб 1:50 000. Наношу условным обозначением новые объекты. Только что сделал отметки в районе на юге близ бухты Соммы вдоль дюн от О до Кайесюр-Мер. Французские источники сообщили, что есть мины, разного рода, местами в три ряда, половина, похоже, магнитные. И никаких ссылок. От кого сведения? Если тодтовский инженер – верить можно, если местный житель – нет. Время – полдесятого вечера. Устал как собака, наливаю себе десятую чашку кофе. Рядом – Ричарде. В его ведении боевые позиции неприятеля там же, между Дюнкерком и Дьеппом. Он счастлив, что зафиксировал две ээсовские части. А Крессети несчастлив. Его задача – обнаружение важнейших модификаций мостов и шоссе. Он с горечью констатирует, что, несмотря на последний налет на Руан, немцы переходят Сену по-прежнему беспрепятственно. Встаю, гашу лампу, закуриваю, выхожу в темный коридор на третьем подвальном этаже у Питера Робинсона в Оксфорд-Серкусе. Но мысленно я за тридевять земель отсюда.

Думаю о тебе с великой тревогой. Неожиданно ты стала мне очень нужна, и с чего вдруг эта нужда, не знаю и знать не хочу. Представляю тебя в твоей нью-йоркской квартирке: ты разбираешь книги задумчиво-деловито, но совершенно смирившись. Потом просматриваешь старые фотографии: две-три одесские, поры твоей молодости, одну болгарскую, остальные бельгийские. Вздохнуть ты не смеешь. Встала с дивана или с кресла, выключила бубнившее радио, тихонько открываешь дверь в отцов кабинет. Отец с лупой и пинцетом рассматривает зубцы у марки, может, для вида, а не для дела, ибо марки, по-твоему, – никакое не дело. Он покосился на тебя, видит мольбу в глазах. Ладно, сейчас он выйдет, посидит с тобой, ему понятно твое волнение, он и сам неспокоен, хотя и молчит. Кто-то из вас пошел на кухню, заварил чай – возможно, ты, если превозмогла тревогу, или отец, если не превозмогла. Когда чаевничаєте, раз семь-восемь бессмысленно помешаете ложечкой, суетитесь, дергаетесь, пока не напьетесь. Наконец буркнете что-то односложное, сообщите какую-нибудь ерунду: негр-швейцар уходит на пенсию и его сменит пуэрториканец, Рузвельт очень похудел, судя по фото, где он между Сталиным и Черчиллем, арбуз надо покупать не целиком, тяжело нести, лучше брать кусок по одному-два кило, кинофильмов европейских мало, только итальянские, чересчур натуралистические, на фронте дела ничего. Вдруг вы замолкаете, ибо понимаете, что сейчас заговорите обо мне и тогда уже не сможете скрыть тревогу. Солидарность вас подбодрила. Десять-пятнадцать минут беседы – и вы воспряли духом. Говорите о погоде, о том, что надо прочистить кран, сдать переокрасить костюм, что почта опаздывает, а может, о соседке по площадке, получившей телеграмму о гибели сына, – он погиб на каком-то

крошечном беспокойном острове в Тихом океане. И вы, и беседы ваши, всё – сплошная банальщина.

Господи, как я этой милой и дорогой банальщины жажду! Прибежал Этертон. Завтра на рассвете в нашем распоряжении эскадрилья воздушной разведки. Надо ли мне заснять что-нибудь в своем секторе на французском берегу? Я снова уставился в карты: враг оживился в окрестностях Фекана, а у меня все отметки трех-четырёхмесячной давности. Решено, пусть заснимут эту местность. Даю точные координаты. Капитан Битти передаст и подтвердит мою просьбу. Месяц назад я отказался бы наотрез «заказывать музыку», совесть бы не позволила. Сажу тут в уютном кабинетике, укрытый от бомб, и посылаю десяток летчиков на оккупированную территорию, чтобы выяснили мне, что да как у немцев с укреплениями. Сколько их из десяти вернется? Подобные заказы не по моей части, и в Генштабе того же мнения. Стратеги – наверху, а я, как и любой на моем месте, – пешка, технарь. Вполне заменимый. Командую исключительно пометками и условными значками. А летчики многие не вернутся. Слез у меня на всех не хватит. Работа моя требует тщательности. Она серьезна, но относительно проста: знать расположение тяжелых и легких батарей, подводной обороны, пулеметных гнезд, минных полей, укреплений и всех прочих оборонительных сооружений, деревня за деревней, дюна за дюной, луг за лугом и холм за холмом. И в день, когда высшее командование решит высадиться именно в моем секторе, я укажу ему все препятствия, а оно укажет командирам батальонов. Ну чем я не боец среди бойцов? И чем я, техспец в четырех стенах, хуже солдата на поле боя? То, что уничтожает он, указал я.

И хватит сантиментов. В прошлом году, в декабре, мне доверили подготовку второго фронта. У меня несколько дипломов, американских и английских. Учился в школе Ритчи в Мэриленде, в Северной Ирландии и в Шотландии. Прошел курс подготовки. Военспец, кабинетная крыса – картограф налетов. Поводырь пушечного мяса. И мясо уже не просто мясо, а с глазами, благодаря мне и еще тремстам офицерам и унтер-офицерам, в центре Лондона готовящим операцию. Ну, и кто я выхожу, герой или подлец? Имей я возможность рассказать тебе все, ты, может, огорчилась бы, может, разрыдалась бы, может, невольно бы посочувствовала, то есть почувствовала бы все то же, что и я. И я, может, и раздражался бы, но твоим пониманием был бы утешен. А тут, без тебя, я из огня да в полымя. Временами горжусь, укрепляюсь мыслью, что участвую в великом деле, усердно готовлю победу, а временами стыжусь, что весь этот сбор сведений – мусор, а победят миллионы солдат, воюя с миллионами других солдат, и победу в этой войне обеспечат сон, еда и тепло, а не генштабовские посиделки теоретиков-паралитиков. От всех этих мыслей я порой и вовсе то одушевляюсь, то отчаиваюсь, то мужаюсь, то падаю духом. Я знаю, что высадка состоится в районе «Нептун» между последними числами мая и серединой июня. Смотрю на карты и мысленно представляю первый бой. Рассвет. В небе бомбардировщики. В море крейсера и миноносцы. Медленный, методический и неотвратимый флот. Мощные, как быки, суда и, как рыбки-невидимки, лодки врежуются в нормандские пески, рассеяв на берегу трупы и красно-черно-зеленую жижу. Мои видения меняются в зависимости от погодных условий. В день «Д» небо мирное и потому благоприятствует военной буре и летучим громадам, сцепленным, как бетховенские такты. Или небо само ураганно, и придавит, и снизит полет крылатых монстров, чтоб тряслись, рвались, дырявили воздух и воду и смешивали в тесноте горизонты с меридианами. А как там море? А море глядит безмятежно и знай поплевывает на пляжный песочек. Или бушует в свое удовольствие и норовит унести, опрокинуть, потопить парочку-троечку кораблей, то есть тоже отметить в мясорубке.

Хочу поделиться с тобой всем, что переживаю. Знаю, что, окажись ты рядом, мой порыв поостыл бы. Но ближе тебя у меня никого нет. Ты сказала бы слова утешения. Глупые,

пустые, но действительно утешительные. Сказала бы – будь, сыночка, проще, следи за своим здоровьем, не переживай понапрасну. Пять минут – и плевать мне на судьбы мира и на исход войны. А явлюсь я к тебе, как снег на голову. Ты в голубом халате. Отец укутан в плед. На несколько мгновений – общее потрясение и замешательство. Ты отвернулась украдкой стереть слезу и справиться с волнением. Отец обнял меня неестественно сдержанно и вышел, оставил нас, потому что знает, что ты взволнованна много сильнее. А ты не выберешь: возликовать от счастья или зарыдать. И целуешь мне руки, словно благодаришь небеса, что сохранили нас. Но потихоньку перенесешь благодарность на другое. Возблагодаришь простой здравый смысл, охранитель всего и вся. Дашь мне тапочки и велишь расстегнуть ремень, чтобы тело дышало. Заведешь разговор о том, как правильно питаться, соблюдать гигиену, беречься от насморка и беречь нервы. Я обезоружен. Я и не заикнусь о мировой войне и об опасности, какой подвергаюсь. Твое военное присутствие – замалчивание войны – самое действенное.

Я очнулся. Крессети зовет подышать. День был длинный и утомительный. Ричарде сказал, что еще посидит: где-то на венгерских просторах посеял мотобригаду, теперь не может найти. Этертон идет с нами. Эта весна 44-го словно и не весна. Погода, как в ноябре. Нудный морозящий дождь делает Риджент-стрит похожей на кладбище допотопных чудовищ, до потопа вымерших. Вдали воет сирена. Значит, одно из двух: начало воздушной тревоги и очередной налет люфтваффе или, наоборот, отбой и трех-четырёхчасовая передышка. Ближе к Брутон-стрит дома 148, 150 и 152 – груда обгоревших камней, битого стекла и тлеющих балок. Ополченцы работают с чувством, с толком, с расстановкой. Раздают одеяла. Убитых и раненых уносят на носилках. Мы проходим спокойно. Наше дело – не оборона, а нападение. И умение подчиниться простому приказу. Мы преисполнены сознанием собственной важности, правоты и значимости, ибо трудимся на благо союзников, Европы и всего западного мира. И не надо нам проповедей о целях войны, не надо словес о священных ценностях демократии и свободы. Мы и так согласны и обеими руками – «за». Ночью рушится Лондон. А днем, готовя второй фронт, костями ложимся мы. Каждый миг, с новыми цифрами, – новая усталость, нервотрепка, груз сомнений и искушение: напиться до одури или дать очередь по толпе. Как раз народ пошел из метро, где пересидел двухчасовую бомбежку. Но нет, у нас, хранителей будущего, срывы исключены. Мы железные. И наша воля – ежеминутное тому доказательство.

На Пикадилли-Серкус идем медленней. Пора отдохнуть, перекусить, выпить пивка. Крессети загляделся на девушек на Лейчестер-сквере. Они проворные, деловитые, недорогие. К тому ж прошли курс любви у поляков и свободных чехов, хороших учителей. Этертон задумался: после семидесятишестичасового перенапряжения не пойдет ли на пользу чашка чая в кафе? Идем в потемках. Ужасно люблю эти грязные фасады близ Ковент-Гардена. Их викторианское барокко целехонько. Съедаем серого хлеба с чеддером, выпиваем по кружке тепловатого эля и расходимся. Нормальные герои разведслужбы. Что общего у меня с ними? Битти, невозмутимый капитан, учитель из Линкольншира. Этертон – сын манчестерского аптекаря. Ричардс, думаю, зарабатывал на собственном обаянии, этакий светский кавалер. Крессети – из богатой семьи, будет царить в своих лимузенских владениях. Свел нас случай, сблизиться заставило общее дело, и оправдать наше товарищество могла только война. Может, и профессиональные секреты сблизают? Но я не очень-то верю в это. Носи мы галстуки, и то выбрали б разного цвета. И на гражданке, в штатском мы друг друга и не признали бы. А вот теперь все мы – друзья не разлей вода и живем по принципу один за всех и все за одного. Правда, хвалиться тут особенно нечем: видимо, и неуверенность в себе велика, если мы так слиты в одно целое. Слиты и связаны обыкновением страхом: где-то будем через неделю? Один, может, погибнет при бомбежке, храбрясь перед бледногубой девкой на углу Гайд-парка. Этертон, к примеру,

вообще не явится к отплытию: свалится с желтухой или повредит ногу, неловко спрыгнув с поезда по пути в саутхемптонский порт. А я, не исключено, в первую же минуту на нормандском берегу схлопочу себе пулю в лоб. И нормально, и обыкновенно, и никакого значения не имеет. Не тверди я о том раз десять на дню, был бы посмешищем. А так хоть сам над смертью посмеюсь.

Долго не могу заснуть. Какой же это Европой я заправляю? Россия обескровлена, Рур в огне аж до гамбургских и франкфуртских пригородов, в Югославии гибнет каждый десятый, а скоро – и каждый третий, Польши вообще вот-вот не станет, нацисты уничтожают все, что мыслит, смеется, а завтра – просто, что дышит, да и с Будапештом, и с Миланом, и с Прагой нечего церемониться, холера делает свое черное дело, и чума засылает в молдавскую и курляндскую глубинки десанты покойников, и те радостно вербуют себе пополнение. Почему бы и Сене в кровавом половодье с нотрадамскими ребрами и луврскими позвонками не унести, как соломинку, дворец Шайо? И пусть пропадут пропадом и Франция, и сады ее с их музыкой, и овсы, заласканные похотливым ветром, как женские локоны, и тропки меж церквами романской и готической, кривые, как браконьер, и прямые, как вдова, что спешит подоить корову, и скаты крыш, спорщики, одни «западники», другие «славянофилы», и виноградники, воскресные переселенцы с холма на холм, от тени к солнцу, многовековые черные патриархи, вдруг из прихоти ставшие красными и белыми весельчаками и песенниками!

Я брошу целые армии на Европу, раню ее в бок и в шею, утонет она и захлебнется в кровище. Для ее же, Европы, блага испепелю Нормандию, так что возненавидит Нормандия всех этих благодетелей и избавителей. По моей милости взвоют от боли каждый дом и каждая улица. Сломаю оковы и все, что в оковах. Убью и подниму с колен убитых рабов. Втемяшу правду детишкам в дырявые черепа. Попрою гимн свободе в одиночестве, и выслушать стоя не смогут даже вязы без стволов и корней. Бомбами восстановлю мир, каждый оконный глаз подобью, и не дрогну, и выглажу деревни, как утюгом нарядную скатерть. Наконец, закрываю глаза. Дело моей чести и совести – подготовить смерть миллионов. Это не долг даже, отныне это призвание. Высовываюсь из окна, подле тебя, на одиннадцатом этаже, в твоей нью-йоркской квартире. Цветет сакура, по Гудзону плывут три лодки к Стейтен-Айленду, а над ними колобродят и ежесекундно меняют обличье облака. Отец говорит: смотрите не простудитесь. Ты ставишь пластинку Шопена и говоришь о Рахманинове. Вздохи легкие, ковры новенькие. На душу нисходит покой. Брусничный компот очень вкусный.



## Париж, апрель 1952

В Париже я устроился довольно скромно: после берлинской роскоши волей-неволей сократил расходы до 20 – 25 тысяч франков в месяц. Без особых усилий поменял одну иллюзию на другую: не международный я чиновник с неопределенными полномочиями, а без пяти минут писатель, начинающий карьеру в кафе «Флор» и «Де-Маго». Написал тебе письмо. Ты тут же вызвалась приехать ко мне в Париж, найти мне квартиру и помочь на мои берлинские сбереженьица обставиться. Только этого не хватало. Пришлось придумывать миллион отговорок: надо кончать учебу, надо править роман, надо сменить университет, потому что в Сорбонне чересчур много студентов, и переехать либо в Лилль, либо в Бордо, а может, в Гренобль. К тому же, говорил я, ты не должна бросать отца, ни на три месяца, ни на два, ни на сколько. В его возрасте работать уже тяжело, и надо отца удерживать, чтоб старился спокойно. Мои доводы тебя не убедили. Ты ответила разочарованно: в Берлине, дескать, я получал твои посылки, то есть как бы брал тебя в дело, а в Париже бессовестно бросил. Я хотел любой ценой сохранить между нами дистанцию. Ты, по всему, поняла и огорчилась. И спрашивала обо всем в лоб, а я финтил и уклонялся. Да нет же, не было никаких конфликтов, и с работы меня не выгнали ни англичане, ни французы, ни русские, ну оставил я работу в Германии и оставил, решил, что пора закончить образование, получить диплом, тем более что имею право на скромную стипендию как бывший военнослужащий американских вооруженных сил. Ты слала мне по десять писем в неделю, из чего было ясно, что верила ты мне только отчасти, а отчасти считала, что для отъезда имеются у меня причины посерьезнее.

Иногда я не отвечал. Нет объясни, продолжала настаивать ты, мать должна быть сыну полезной и обязана знать все. Потеряв терпенье, я слал телеграммы почти грозные: «Крайне устал тчк еду в горы», «Экзамены тчк подробности письмом», «Планов масса тчк подумаю тчк привет». Ты давала мне передышку. Рассказывала, что встретила молодого человека, что он воевал на Тихом океане и испытал то же, что и я, и что, поняв его, ты поняла и меня. Или что познакомилась с дамой, приехавшей из Рима, и вдруг прозрела, вдруг поняла, как измучена, голодна и несчастна послевоенная Европа. Ты стала задабривать меня и подлизываться, являя чудеса терпения. Спросила, есть ли у меня кто, хоть раньше я ни разу ни словом о том не обмолвился. Не хочу ли жениться? В следующем письме поправились: просто пора относиться к женщине не как победитель-завоеватель, а как мужчина зрелый и опытный. В ответ я отругал тебя нещадно: тоже мне, психолог, ни на йоту не поумнела, говоришь, как в 39-м, не то жалеешь, не то поучаешь, и всю себя, видите ли, отдаешь неблагодарному сыну. В ответном письме возмущилась уже ты: подумать только, какая жестокость, и это я, твой сын, нет, одно из двух: или я серьезно болен, или пляшу под дудку, под чью-то очень нехорошую дудку.

Я усмехнулся. Я уже год жил с Марией и собирался объявить тебе, что женюсь. В сущ-

ности, ты стесняла меня, и, что делать мне с тобой, я не знал. Враждебен к тебе не был, наоборот, был благодарен за нежность и заботу в детстве и юности, но теперь на что они мне? Впрочем, дважды в месяц, рассуждал я, потерпеть можно. А ты рассуждала иначе. Я не вправе не думать о тебе ежечасно. Новое увлечение – не оправдание. В каждом твоём письме – досада в форме истерического участия. И письма эти я читать перестал. Только просматривал, а читал отцовы приписки, двадцать-тридцать слов в конце: сообщения о мелких событиях в вашем скучном житье-бытье считал я важней. Конечно, революция в 17-м, бегство, Бельгия, Вторая мировая, новое бегство, переезд в Штаты и относительное благополучие в Нью-Йорке изменили вас. Даже зависть берет, как невозмутимо спокойны вы оба. Отец, правда, всегда спокоен, а ты – приспособилась волей-неволей. Отец мужественно-стойко, а ты размягченно-отрешенна. И досада твоя на меня недаром. Твоих материнских чувств я стесняюсь, все мое внимание теперь – отцу.

Ты буквально залезаешь под ногти, до всего тебе дело: не сиди, сыночка, впотьмах, и так зрение испортил, держи в порядке ванную, питайся правильно, не ешь копченостей, найми, кроме уборщицы, еще и кухарку, это не роскошь, а необходимость, а если нет денег, сними с нашего общего счета, главное, не ходи в университетские столовки, иначе через год верная язва, мол, знаю, что говорю, сама питалась чем придется, теперь мучаюсь, и обязательно высыпайся, и делай массаж, у кого сидячий образ жизни, он очень нужен. Я благодарил за советы, но ты не унималась: кто же, сыночка, как не мать, будет думать о таких пустяках. Философия, литература, всякие там высокие материи, да, конечно, все это прекрасно, а мамыны думы – мой кашель, насморк и запор. Я послал тебе фото своего жилища. Обыкновенная двухкомнатная квартира на набережной Луи-Блерио. Единственная радость – окна на Сену. Но тебе мало: судя по шторам и скатертям, не обошлось без женщины. Тебе и этого мало: я врун и лицемер, и ты совсем перестала понимать, о чем я думаю и что я вообще за человек. И, Боже ж мой, что я такого сделала, что сыночка вычеркнул меня из своей жизни?

Я смутился, встревожился. Мне хотелось свободы. Я рвался к ней и считал цепями любую любовь. Любимые люди сковывали, не пускали меня к самому себе. Я не мог терпеть их долго – они тяготили меня. Правда, одиночество тоже тяготило. И я возвращался к любимым, но теперь они обиженно воротили нос, и я страдал. Ладно, может, и не рассыплюсь, если буду откровенным с тобой. Что плохого в моих словах и поступках? Одного я хочу. Я, полурусский, полубельгиец по рождению, болгарин по детству, американец по случаю и немец по скороспелости, жажду пустить наконец корни и счел, что французская литература – единственная моя родина. Я написал тебе несколько писем. Объяснил, что отвлекают меня от тебя не занятия, время на них я трачу немного, а знакомства: общаюсь с людьми искусства. Но найти нужный тон мне не удалось. Написал обо всем, по-моему, как-то слишком зло и нервно. Наша с тобой разлука длилась много лет с кратким, так сказать, перерывом – свиданием, искренним и в то же время деланным. Я успел забыть тебя и ничуть не стремился вспомнить. Моя любовь к матери была теперь чистой теорией, скучной абстракцией. И ты рвалась ко мне, а я от тебя. Я и в себе-то, видимо, еще не разобрался, а уж в тебе тем более. Ругал тебя понапрасну и прекращал с облегчением.

Свое время я организовал очень правильно. Мария уходит на службу – отдел «плана Маршалла» – в восемь тридцать. Я сразу за машинку, отстукиваю три страницы романа. Именно три, не больше: количество, по моим подсчетам, всегда в ущерб качеству. А чувство недосказанности при внезапной остановке всегда лучше полной высказанности. То, что бессловесно жжет сегодня, станет словом завтра. Итак, к полудню я бреюсь и иду на бульвар Эксельманс, покупаю салат, морковный или огуречный, съедаю на обед с остатками вчерашнего ужина, заедаю йогуртом, каким-нибудь фруктом или половинкой шоколадки. С трех до четырех

читаю конспекты лекций попеременно с Сартром, Сен-Жон Персом, Кале и Арланом. Перед ужином через день доезжаю на метро до Сен-Жермен-де-Пре и сижу в кафе у Липпа, где глаголят поэты – пупы земли. Я лезу в бутылку – ругаю ядерную энергию, славлю атомную. Порой вещаю, как пифия, сулю, точно речь о сюрреализме, скорую смерть экзистенциализму. И оглядываюсь, каково впечатление. Кажется, не совсем отрицательное. Во всяком случае, никаких упреков в нарушение порядка, впрочем, и нарушать отныне нечего, в умах и без того хаос. Возвращаюсь домой к восьми, наступает час потехе, ласкам, любви. Распорядок дня нарушали только хождения на занятия в Сорбонну: хотел иметь как минимум университетские корочки. Не успею в литературе – заработаю на жизнь преподаванием французского.

Скрывать от тебя свои «литературные» планы смысла мне не было, но и делиться ими – тоже. Слишком рано. Мало ли, может, и не выйдет из меня ничего, как прежде из отца, хорош тогда я буду! А я гордый. Хочу явиться к тебе не побежденным – победителем. Так что думай что хочешь. Тверди, что я вял, неуверен в себе. О своих надеждах и восторгах помолчу: помолчу, за умного сойду. Потом, позже, поиграю с тобой в мемуары: расскажу, кого знал, в чем участвовал, чем наполнялся и вдохновлялся. Пока же похвалиться нечем. Даже связь с Марией – самая заурядная, по крайней мере, в твоих глазах. Ты захочешь осудить, вынести безжалостный приговор: не простить, или все же простить, но так, чтоб сломить меня и вернуть себе. Я боялся и в откровенности не пускался. И твои письма стали растерянно-бессвязны, словно написала и не перечла. Ты злилась сумбурно, сердилась, язвила, требовала. Пришлось цыкнуть. Написал: хочешь по-хорошему, сама не делай по-плохому – и три месяца молчал о личном. Мол, жив-здоров, живу, хлеб жую. И хватит с тебя. Снова стал отделяться фотографиями: я в свитере за столом, я в плаще у Сакре-Кёра или Эйфелевой башни, я с газетой на углу Одеона – и думай как хочешь и что хочешь. Мне некогда. Чего тебе еще надо?

А ты молила, рыдала, и я таки не выдержал. Да, сказал я себе, разумеется, ты имеешь право знать больше о сыне, и сердце у меня не камень, просто иногда слишком осторожничаю. И – небывалое дело: как только Мария собралась на десять дней в командировку в Австрию и потом в Турцию, я позвонил тебе! Приезжай-ка ты в Европу! Оставь отца на верных людей и – давай! Время подходящее, добраться нет проблем, познакомись с моей нынешней подругой, пока ее не будет, поживешь у меня, потом съездишь подлечиться в Мондорф, как, помнишь, ездила до войны в Виши и Бад-Нойенхар. А потом заедешь в Брюссель, для тебя же священна память о матери, вот и повидеешь ее знакомых. Десять дней спустя ты высадились в Гавре, энергичная и очень довольная. В Париже сразу побежала по музеям. Второразрядную гостиницу близ Мадлен вполне хвалила. Объявила мне, что столько лет жевала ненужную жвачку, варилась в собственном соку, потеряла время, теперь хочешь наверстать упущенное, идти в ногу со временем, жаждешь заняться скульптурой и живописью. На музыке ты поставила точку много лет назад. Теперь просто слушаешь радио. Зато изобразительное искусство расшевелило тебя, не дает сидеть сиднем, развивает вкус. Мол, съездила ты в музей в Вашингтон, в Филадельфию, в Кливленд. Не такая уж ты дурочка, как я думал. Я сходил с тобой в Же-де-Пом и в Музей современного искусства. В Же-де-Поме ты долго стояла у соборов Моне, а в Музее современного искусства тотчас, к моему изумлению, узнала Руо, Дюфи и Хуана Гриси.

Удочки ты стала закидывать только на пятый день. Понимала, наверно, что буду смущаться, и ждала, когда сам решусь и приглашу. Но я не хотел звать тебя к нам. Решил, что для начала проще прийти к тебе нам с Марией и отделаться лимонадо – или кофепитием. Ты нарядилась. Мария тоже – надела, по моей просьбе, лучшее платье. Случай, объяснил я ей, торжественный. Вы обе держались безупречно. В меру любопытства и сдержанности. Но за

ними, понял я очень скоро, – спокойная враждебность. Разумеется, ты благодарила ее: ах, спасибо, какие дивные розы! А взглядом искоса говорила: знаю, что цветы не она купила, а ты. Поболтали вы с ней вполне невинно: Париж после войны уже не тот, люди одеты хуже, чем в Нью-Йорке, всюду серый цвет, но все-таки Париж есть Париж. О тряпках тоже, разумеется. Обсудили цены на шляпы, нейлоновые чулки и туфли. В одном почти сошлись: французские кутюрье замечательны. Ты любила довоенных гениев Пуаре, Шанель, Пату. Она предпочитала Диора и Жака Фата. Ты приняла приглашение отужинать у нас завтра. Завтра вы опять болтали. Только однажды тревожно оглядела ты мое рабочее место – стол с книгами – и меня. Понятно: жаждешь расспросить, а то и поругать, подмечаешь каждый жест, взгляд, потом, конечно, все мне припомнишь, извратив и переврав. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Вы чужие друг другу. К чему эти тары-бары? Лучше б сидел писал роман. Все равно уедешь. А Мария выйдет за меня или нет – там видно будет. Ну давай, спрашивай, выспрашивай, допрашивай, что да как, да из какой Мария семьи, да кто родители, да где училась, да какого мненья о том о сем и, главное, обо мне. Давай, хитри, лови на слове. АН нет! Никаких вопросов. Молчишь. Значит, равнодушна к моим делам? Что ж, и прекрасно, не будешь давить и командовать. Но все-таки и обидно, что тебе так наплевать. Ты похвалила еду, пожелала всех благ Марии – как будто я ни при чем. Мария показала тебе спальню: мол, я в командировку, а вы живите на здоровье, пока меня не будет, а он поспит на диване в гостиной. Разговор был прост и холоден. И может, даже вообще без всякой задней мысли. Ну конечно, я и забыл, ты же умеешь улыбаться вполне равнодушно.

Мария уехала. Ты тотчас поселилась у нас. Нет-нет, не из экономии. И не чтобы приставать ко мне. Просто хочешь постряпать, покормить меня вкусеньким. Нет, сыночка, не сиди со мной, не трать время, учись, пиши, занимайся своими делами. Кое-что переменяла: зеркало в ванной, вазу, столик у кровати, подушки и телефонный справочник. Потом ополчилась на ложки-вилки. Стала бороться с газовым нагревателем, очень опасным предметом, и прокляла цвет ковра. Потом осудила лифт, и дом, и весь район. Я так и ахнул: через два дня оказалось все из рук вон плохо. Квартира – дрянь, улица – убожество, вид на Сену – мрак, и тоска, и безобразные фабричные трубы. Слов и дел оказалось мало. Ты отважилась на подвиги. Выкинула почти все кастрюли и купила в «Прэнтан» новые, их-де легче мыть. Обогреватель сменила на дорогой. Лампы повесила поярче, чтобы я не портил себе глаза. Пришлось умерить твои расходы – душевные и денежные. Я объявил с холодной насмешкой, что материальная сторона жизни меня не интересует. Хватит с меня берлинской роскоши. Не за мебелью я приехал в Париж. Но ты стояла на своем: чтобы стать великим писателем, надо иметь мягкую подушку, сковородку из нержавеющей стали и крепкую прокладку в водопроводном кране.

Но это были цветочки. Ягодки случились однажды за завтраком: ты вдруг спросила, женью ли я на ней. Сказала – «на этой женщине». Я разозлился, однако справился с собой. Не стал ни огрызаться, ни петь ей дифирамбы. Просто сказал: по-моему, она неплохая. И что ж, что неплохая, сказала ты. На женщине не женятся только потому, что она неплохая. На женщине женятся, потому что она хорошая. А ты, мол, ничего хорошего в ней не видишь. Энергичная, значит, расчетливая, решительная, значит, бессовестная, а трудолюбивая – втайне честолюбивая, а трезвая – вообще ни ума, ни сердца. Я не перебивал, даже подлил тебе чаю и подложил булочку. Первое удивление прошло, просто стало очень забавно. Вот на что способна мать, воюя с соперницей за сердце сына: подумать только, ей, матери, треть или четверть, а остальное – какой-то вертихвостке, узурпаторше! Я даже подумал, что ты – готовая героиня романа. И стал внимательно, как врач, изучать тебя. Ты удивилась, что я молчу, и поддала жару. Моя Мария – секретутка, посредственность, прячет под жеманством свое подлинное лицо. Какое такое подлинное, ты, впрочем, не пояснила. И несколько она мне,

с моим богатым внутренним миром, не подходит. Все-то у нее расписано, все по полочкам. Откуда ж тут взяться душе, воображению? Воображению требуются не расчеты, а мечты или хоть что-нибудь в этом роде. Она же не способна понять всю глубину моей натуры! Меня ждет-таки жестокое разочарование. Нет, сыночка, доказательств не требуй, у матери сердце – вещун.

Я на миг все же перебил тебя: сказал, что, как начинающему писателю-романисту, мне бы твою фантазию! Ты не поняла насмешки, наоборот, вдохновилась и совсем разошлась. Моя Мария – американка, значит, равнодушна ко всему, что не материально. В один прекрасный день ее одолеют корысть и алчность. И я просто взвою, когда увижу, какая она стерва и пройда. Сразу видно: та еще штучка, нахалка, даже если и уверяет, что любит тебя. Сам посмотри, прокурорствовала ты, что у вас за квартира: безликая, казенная какая-то, нету в ней ну ни капельки безалаберности, какая всегда бывает у широких натур. И опять я подумал: какой беллетрист в тебе пропал, и поэт, и даже философ! Вызывая меня на ответ, ты привела самый мощный довод: у Марии душа недостаточно русская. Довод подействовал – я ответил. Да, ответил я, сурово и прямо, у нее, может, и недостаточно, зато у тебя душа – чересчур русская, славянская, безалаберная и непоследовательная. Да, чересчур, на мой вкус. Двадцать лет я так думал, пора наконец сказать вслух. . . Дальше – больше. Нечего, кричу, искать соринку в чужом глазу. И вообще, если не знаешь, лучше помалкивать. А ты просто старая сплетница, да еще ослепла от ревности. Спросила бы прямо, что и как. Так нет, тебе лень. Сама, видите ли, составишь суждение. А судишь обо всем по какой-то внешней ерунде. У тебя сердце, видите ли, вещун! Что ж оно молчит, когда ты несешь всякий вздор! Позоришь сама себя!

Помолчали. Ну зачем ссориться? Надо пойти в музей, замириться перед каким-нибудь современным шедевром. Пошли в галерею на авеню Президента Вильсона, поспорили о вкусах, глядя на Леже, Ван Донгена, Мондриана, кубистов, фовистов и сюрреалистов. Ты любила их форму, не понимая сути. Наконец, кажется, на Делоне мы слились сердцами и мыслями. Я уж готов был простить тебе все, но ты снова-здорово: нет, конечно, писательство – это прекрасно, по стопам отца, преемственность поколений, но и личную жизнь надо строить на серьезных чувствах, а не бежать за первой фифочкой только потому, что она хороша в постели и вообще вся из себя. На Риволи мы зашли с тобой в кондитерскую Румпельмайера. Ты оглядела милую старомодную обстановку, съела крем с каштанами и вздохнула о лакомствах одесской и брюссельской поры. Я завел с тобой психологический разговор, объяснил про себя все, словно сам все понимал прекрасно. Я не наивный мальчик, не теряю голову на каждом шагу, Марию люблю серьезно, хотя не так, чтоб до безумия, а она, да, человек другого склада, и тем мне нравится, потому что прекрасно меня дополняет. Мария придает мне уверенности и стойкости, уравновешивая мои порывы. Я, в свой черед, воспитываю ее эстетический вкус и как бы беру с собой в интересно-опасный поход – восхождение на Парнас.

Мои объяснения, судя по всему, не много тебе объяснили. Ты кивала головой, подносила к носу чашку, загадочно вздыхала и скептически смотрела, но молчала. Уж лучше бы сказала, а так только взбесила меня. Я стал жесток, зол и несправедлив. Ты сама в своей Америке огрубела! Теперь явилась ни с того ни с сего ломать мою жизнь! Как какой-нибудь старый шкаф – двигают по углам, пока не задвинут в чулан. Нет в тебе никакого такта, лезешь под ногти, навязываешь свои глупости, а сама даже не пытаешься ничего понять! Не говоришь, а изрекаешь! Что за самоуверенный бред! Просто тошно слушать! Лично я уже давным-давно понимаю, что к чему, и в состоянии отличить любовь от интрижки. . . Скоро, впрочем, я сообразил, что выгляжу со своей руганью не умней тебя. Оба мы с тобой любители сделать из мухи слона и поскандалить. И я объявил тебе, что вообще не собираюсь на Марии жениться.

Сошелся с ней, она ничего, но я еще не решил, и, в конце концов, – да, лучше менять баб, как перчатки, и вообще жить свободным художником – ни от кого не зависеть, ни к кому не привязываться, делать что в голову взбредет.

Неужели на тебя не подействовало? Неужели не представила меня бродягой, пьяницей, стариком прежде времени, и как цепляюсь за уличные фонари, как не пропускаю ни одной юбки, усталый, неотразимый, гениальный и беззащитный?.. Нет-нет, подействовало, моя военная хитрость удалась. В самом деле, рассудила ты, лучше жить как живу, чем вообще черт знает как. Ты помолчала в замешательстве, потом нашла третий путь: почему бы мне не переехать в Штаты? В 45-м я и сам этого хотел. В Америке карьеру сделать легче. Я пустился в новые рассуждения. Америка для меня – так, эпизод, случай. Тут с меня взятки гладки. Нет, Америку я не ненавижу, но будущее мое – в Европе, а именно – в Париже. Это совершенно однозначно. Для этого я сделал все, что мог. И язык мой – французский. И никто и ничто меня не переменит. Ты сказала, что я упрям как осел, и продолжила ругать Марию. В пылу спора я сочинил небылицы. Повадал, как в самом центре Берлина во время знаменитой советской блокады 48 – 49-го годов меня арестовали восточные немцы, когда я ехал на служебной машине в штаб-квартиру генерала Панкова. Марию известил о том какой-то двойной агент. Она бросилась на выручку. Деньги и угрозы сделали свое дело – через пять-шесть дней меня отпустили. Ты так боялась русских, что совершенно поверила моим жалким басням. С величественной насмешкой сказала: женись мы на всех, кто спас нам жизнь, что бы с нами стало! На том и помирились. Вернувшись в музей, побеседовали умно и тонко о Пикабии и Жаке Виллоне. И еще три дня, вплоть до твоего отъезда в Мондорф, изо всех сил старались, ворковали как голубки. Незачем было говорить, с кем я: ночная кукушка все равно дневную перекукует.

## Париж, июль 1977

Ну можно ли разбить на главки родную мать? И уродовать ее, обряжая словами! Сомнительным и рискованным делом я занят – описываю тебя в рассказе и являю в меру правдоподобной, не реальной и не сказочней персонажей собственных книг, каких я выдумал от начала и до конца. Хотя сильны во мне сомнения и угрызения, но еще сильнее – потребность оживить тебя. Хочу быть честным. Честность, правда, кружит голову и порой, по-моему, может заморочить. Но как только я чувствую, что ошибся и исказил память о тебе, тут же понимаю и другое: пусть слова небезгрешны, но иначе тебя мне не воскресить. Пишу – живу. Написал – вновь обрел. Все прочее в мои шестьдесят – суета сует. О себе самом что ни скажу, все – неточно, даже искаженно: боюсь, возвышающий обман был мне дороже низких истин. Да, «обман» мне удавался, хотя хвалиться тут особо нечем: как любая уловка, увертка, он ослеплял, но ничего не освещал. С тобой – другое дело. Я должен рассказать и показать истину. Мой долг – разогнав туман вымысла, представить твое подлинное лицо. Ради собственного же спокойствия не желаю никаких прикрас: правда и только правда.

Главное тут, наверно, – безотказная память. А на свою я, после всего, полагаюсь не слишком. Она то густа и гладка, то, так сказать, ершиста, то дырява, словно солдатский котелок на поле боя три года спустя, как война закончилась. То я злюсь, что она слишком полна, то стараюсь залатать прорехи подручными средствами, то есть добавляю отсебятины и порой перебарщиваю. И кого, в конце концов, я вспоминаю – тебя или, совсем уж смешно, себя в тебе? Ведь ты – мое зеркало. А может, за давностью лет и нечеткостью следов, теперь я – твое зеркало? Мы то подтверждаем, то отрицаем друг дружку, наконец и вовсе блекнем, становимся только слабым отражением образов невозвратимого прошлого. Но отказывает память – помогает чувство, и, пожалуй, думаю я, написанное – то же, что пережитое. Ты есть то, что смог я выразить. Сказал – воззвал из небытия. Да, я в плену у чувства. Оно может исказить. Оно то терзает, то ласкает, тем самым навязывая мне тебя, ту или иную. Потому твой образ выходит у меня не слишком беспристрастно, но он прочней, долговечней, чем все те, что подсказаны памятью, то верной, то нет.

Память – вообще дамочка рассеянно-праздная. Вуалька отстала от шляпки и завесила ей левый глаз. А в правый светит солнце – пришлось зажмурить. Дамочка вертит головой, видит воспоминание, не видит, находит – теряет. Оно – близко, а она думает – далеко, потому что не верит глазам своим. А другие близкие приблизит так, что совсем не увидит. . . Вглядываюсь в тебя давнюю, в моем детстве: все тихо, мирно, солнечно, но – и только. Вот отрочество, юность: тридцатые годы, ты в потемках, на первом плане другие – приятели, подружки, учителя, гении из энциклопедии, чуть было не решившие мою судьбу. А вот годы сороковые: говорю себе, что тут ты – луч света в том царстве тьмы и ужаса, который только и мог остаться в памяти. Ничего не поделаешь: в пятидесятые-шестидесятые ты – пожелтевшие

снимки и письма, кино с грязной экранной изнанки; значит, освободился от тебя, стал одиноко-взрослым, запутавшимся так, что и ты не сможешь. Зато в последние твои годы ты – такая, как есть: властная, важная, настойчивая. Стоит вспомнить о тебе тиранию – тут же у меня мигрень. И голова как в тисках, словно боксер-тяжеловес, опьянев от победы на ринге и самодовольства, сжал мне череп, как арбуз, чтобы треснул.

С памятью еще и сладу нет. Словно растревожили муравьиную кучу: прысь во все стороны. Образы сменяют друг друга, с хронологией не считаясь, вызывают кого попало. Порой кажется – точь-в-точь как пассажиры и багаж разлетаются из самолета, на высоте десять тысяч метров взорвавшегося: чемодан, косматый старик, бутылка, очки, беременная тетка, кресло, дипломат, сестры-двойняшки, столик на колесах глотает вперемешку бездонная высь. А вот два образа слились в один, невообразимый, иногда безобразный, третий. Такой сам разрушит и пространство, и время. И вот уже события софийской поры ошибочно помешу я в Брюссель. А тогда волей-неволей припишу не то и не тем, отниму то и у тех. . . Потом память опомнится, поправится, исправится, напомнит о себе, как подделка подлинник или трухлявая деревяшка ампирный шкаф. А я химичу с тобой, родной матерью, – окуну, вытащу, словно в силах алхимией сделать олово золотом. Воскрешаю тем самым тебя или вторично гублю?

Идет химическая реакция. Образуются отдельные твои слова и улыбки двадцати – и тридцатилетней давности, и чувства твои – на самом деле мои. Ты – мой персонаж. По логике, несколько упрощенной, ты и чувствуешь, как я, и на сотой странице уподобления – мне и уподобляешься, так что, говоря о тебе с восторгом или отвращением, вдруг понимаю: говорю о себе. И неужели мы, полкниги спустя, еще не одно целое? И на что мне объективность? Искал мнимый образ, нашел свой, в виде сырой бесформенной массы. Мое дело – вылепить эту глину, высушить, вдохнуть в нее жизнь, вложить смысл. О тебе – значит, обо мне. Порой я изнемогаю, хочу на попятный. Порвать бы написанное, вдохновиться б дурманом попроще, грубой выдумкой. Выдумать, чтобы не мучиться правдоподобием. Но нет, поздно, слово не воробей. Не воробей, а клоп: уже полон тобой, за ночь насосался спящего бедняги. И нет уже мне со словами сладу. Они сами мной как хотят, так и вертят. Протяну им палец – откусят всю руку, и плечо, и голову и всего сожрут с потрохами. Они разрослись в жадное стадо: норовят захватить все, каждый себе, и раздавить соседа. Еще недавно они шли на поводу у меня, но вот мы поменялись местами, и уже я – на поводу у них. И распоряжаются тобой, вопреки и тебе, и мне. Я, конечно, могу наказать их, захлопнув книгу. Но говорю, смирясь: да, они правы по-своему, они открывают то, что, стыдясь, скрываю я, и чувствуют стократ сильнее. Мысли мои о тебе они обгоняют и тем самым оправдывают. И если исказят тебя, я не виноват. Уж и правды между нами с тобой не осталось: ссорит нас и мирит выдумка. Я решил, что вправе – в праве, между прочим, сомнительном – воскресить тебя. Но вот лишился права делать тебя такой, как есть. От страницы к странице твой образ подправляется новыми черточками, становясь то вернее от резких штрихов, то приблизительней от тусклых пятен. С тебя пишу автопортрет.



## Остенде, лето 1933

Твое отношение ко мне стало простым и практическим: я достиг возраста, который по-други твои зовут «трудным», я нервен и взбалмошен. Значит, незачем стараться, учить меня уму-разуму. И не дух мой, жадный и злой, следует мне укреплять, а тело. А именно: есть лук, шпинат и говяжью печенку, по возможности с кровью. А также принимать душ дважды в день для улучшения кровообращения и очищения мыслей. Но все это, считала ты, – полумеры. Самое действенное – в августе три недели на море. Морские ванны, йод и солнце – что еще лучше для растущего организма, ослабленного бесконечным чтением и сидячим образом жизни? Выбрала ты Мариакерке. Отец согласился, не убежденный, скорей – безразличный. Вы сняли дом на семейном пляже. До Остенде рукой подать, четыре километра, тебе было на руку: пока мы с отцом купались, ты болтала в кафе «Палас-отеля» с польками и сербками. С кумушками-славянками хорошо предаваться ностальгии. Ты пускалась в одесские воспоминания, вперемежку, впрочем, с воображением. Атмосфера, правда, за столиком не та. Кофе с мороженым, засахаренные фиалки, пальмы из папье-маше, вздохи и «пожалуйста ручку» с поцелуями по-фламандски, то есть по-йордансовски смачно, взасос. На крыльях мечты далеко не унести.

Я познакомился с Сесиль Деваэт. Кажется, день был сырой, час отлива, на мокром песке дети, мои сверстники, вместо купанья резвились с мячом. Собирались в команды все – мальчики, девочки, устанавливали правила, в каждую игру, что в гандбол, что в баскетбол, добавляя для пушшего веселья свои, новые. К примеру, за каждое очко – рыболовный сачок или поцелуйчик, если родители делают вид, что не смотрят. Поцелуйное новшество произвело фурор, так что родители сдались и уступили детям с условием: в кабинке находиться не больше минуты. А кто больше – немедля проверить, чем он там занят. Сесиль Деваэт была длинна, тонка, весела и проворна. Полумакаронина, полузмейка, она на зависть всем нам шутя ловила мячи – футбольные, теннисные. Сесиль была на два года старше меня. Я считал ее врагом, потому что она всегда побивала меня. Иногда я задибался, то и дело норовил дать подножку. Однажды она особенно легко выиграла в бейсбол. Я заявил, что это нечестно, что ветер был в мою сторону. Она засмеялась и в утешение мокро чмокнула меня в губы. Я вытерся с показным отвращением.

– Не понравилось?! – воскликнула она. – А я и по-настоящему могу целоваться! Ты не думай! Показать?

Я не нашелся что ответить. Но стал играть с таким жаром, что чуть не выиграл. Под конец она сказала:

– Следующий раз, когда победишь, я подожду тебя там... вон в той желтой кабинке.

Я не спал всю ночь. Завтра и послезавтра я играл позорно. Товарищи улюлюкали, даже чуть не погнались из команды, кричали: «Иди возись с малышкой в песочке!»

В пять вечера Сесиль подошла и спросила:

– Тебя утешить? – и взяла меня за руку.

До кабинки я еле доплелся: двадцать тысяч пар глаз, казалось, следят за нами и смеются. Входим. Внутри два складных стула, лифчики, халаты, тент и соломенная шляпа с полями. Сесиль заперла дверь изнутри. Стало темно. Она сказала:

– Хочешь, разденься.

Но я коснулся рукой ее груди, твердой и маленькой, потом колен, на мой вкус слишком острых. Она спустила купальник до пояса, велела мне обнять ее, прижалась губами к моим и раздвинула их языком, горячим и жадным. Я был смущен и сердит, что оказался неумехой. Сесиль твердила:

– Ничего, ничего страшного.

Минуты показались мне вечностью. Страх леденил кровь. Сесиль совсем разделась и помогла стащить купальный костюм и мне. Кожа у нее была теплой, нежной, приятно дурманящей. А моя собственная кожа тяготила меня, точно я вырос, а она нет. Сесиль положила мою руку себе на живот. Я соскользнул вниз, в мокрые, скользкие волосы. Приказал себе изумляться и радоваться. Все тщетно. Воображение бессильно, удовольствия ни малейшего. Сесиль прошептала:

– Ты в первый раз?

Вместо ответа я ткнулся ей куда-то в ключицы, схватил за подмышки. Я словно сдерживал ее, защищаясь и защищая от нее ее саму. Она ощупала меня всюду, потрогала член. Счастье, что она старше и может начать первая – я не могу. Она с силой потерлась о меня, и вдруг ее запах как-то странно меня успокоил. Я прижат к ней и вот-вот войду. Она и зовет, и не выпускает. Задрала колени чуть ли мне не до плеч, ногтями вцепилась в поясницу. Наконец оттолкнула к двери кабинки и крикнула:

– Продолжение завтра!

Вечером за ужином ты сказала, что я бледный, беспокойный и злой. Есть я не хотел и к любимому своему креветочному салату не притронулся. Даже сливы на третье не захотел. Ты спросила, все ли у меня в порядке с желудком. Не простудился ли, купаясь в шторм в холодной – восемнадцатиградусной – воде. Не переутомился ли, играя в мяч. Я был не в состоянии отвечать связно. Посему, вместо прогулки на пирс, ты велела лечь спать в десять. Спал я плохо, но утром стал очень оживлен, и ты успокоилась. Однако Сесиль не пришла. Кабинка была заперта. Я попросился с тобой в Остенде. Ты удивилась и решила не идти вообще. Осталась на пляже и следила за моей беготней с подозрением. Ах, я тебе подозрителен? Ну а ты мне подозрительна тем более! Не к милым тетям ты ходишь в «Палас-отель», а к милым дядям, и играть ты с ними идешь туда, куда не пускают детей. А то и прямо к ним в номер – заняться тем же, чем и мы с Сесиль, только на зависть мне ловчей, хотя и не знал я, как именно. Ночью спал я уже лучше. Правда, несколько раз просыпался, долго не мог уснуть и думал о некоторых неисследованных местах Сесиль. Во тьме кабинки я с перепугу не изучил как следует грудь и не помнил теперь, какая она, бедра тоже толком не представлял – широкие или узкие, толстые или худые, цвет волос и вовсе упустил из виду, предполагал, что Сесиль темная шатенка, но поклясться не мог.

Назавтра она явилась в диком полосатом черно-желтом купальнике. Я окликнул ее нарочито вульгарно:

– Эй, невидимка, какого ты там цвета?

Она понеслась как угорелая по воде, я за ней. Жаль, что такая тощая, не мешало бы потолстеть.

– В кабинку пойдем?

- Думаешь, детка, ты один у меня?
- А что, много?
- Полно.
- А я тебя люблю.
- Ну и что?
- Итак?
- Завтра в десять моя мамаша с твоей пойдут в Остенде на распродажу белья.
- Правда?
- Может, еще поклясться?
- Дай поцелую в лобик.
- Ладно, не строй из себя младенца. Хочешь, чтоб весь пляж сбежался? Слушай, давай покатаемся на лошадях. Поедем медленно. Верховом ты тоже в первый раз?
- У меня нет денег.
- Неужели трех франков нет? Ну и любовника я себе выбрала! Ладно, так и быть, заплачу за тебя.

На этот раз спал я прекрасно. Мне снились птички, порхавшие на склонах холмов над миллионами орхидей. Утром ты сказала, что морской воздух делает чудеса. Я окреп, ничуть не похож на заморыша отличника и здоров и душой, и телом.

На этот раз Сесиль сдержала слово. Мы поздоровались скромно – просто кивнули и мигнули друг другу. Сесиль даже не заперла кабинку. Нарочно неприкрытая дверь пропускала свет, и я смог разглядеть потаенное. Вдобавок начинался прилив, и поцелуи зазвучали как-то особенно гулко. Живи мы сейчас рассудком, а не чувством, осознали бы себя великой силой земли. Но нет, мы были скромны и заняты. Сесиль командовала точно и кратко. На колени, взад-вперед, внизу живота, между ног, стой, давай вперед, назад, опять вперед. В деле были и руки, и губы. Спешу медленно. Так, хорошо, правильно. Вдруг, задыхаясь, она велела заняться позвоночником – от поясницы до копчика. Действовал я послушно, а потому очень старательно. Стонать она стала тише, я тотчас приник к ней: имею право на место под солнцем. Она громко засмеялась: разумеется, слона-то она и не заметила. Мы задыхались. Но ярости во мне, как ни странно, не было, и душа, и тело повиновались. Вся воспаленная, Сесиль раскрылась. Я проник в нее, она задергалась, почувствовала, что на пределе, и сказала:

– Уйди.

Я послушался. Она спросила, нет ли у меня «резинки». Я молчал. Тогда она достала пакетик из сумки и протянула мне резко и властно.

– Надень! – крикнула она с нетерпением.

Я потерял драгоценные секунды. Вмешался разум, нашептал что-то страшное, парализовал меня всего. Сесиль поняла и схватила мой член, чтобы все наладить. Все наладилось, и мы продолжили наше дело по всем правилам, и вдохновенно, и трудолюбиво. Прошло несколько минут. . . Кажется, у меня отсутствие всякого присутствия. . . Не знаю, кто я, где я – никто и нигде. Все во мне с ног до головы – дрожь и корчи. Чувствую, как занимается гигантское пламя и рвется из вулкана лава. Я задохнулся и подумал о тебе. Извержение свершилось. Мне почудилось, что Сесиль – это ты. Сесиль прошептала:

– Неплохо, очень даже неплохо.

Вечером ты удивилась: сыночка был на редкость оживлен. Я восторгался всем подряд. Улицу назвал полинезийским пейзажем, хотя была она скучна, а Полинезии я сроду не видел. Заявил, что стану великим гением. Изобрету, наверно, крылатую подводную лодку и самолет, летающий со скоростью света. Поцеловал тебя по собственному почину. Даже сказал, что

бифштекс только с краю подгорел, а вообще очень мягкий и тает во рту. Следующие дни Сесиль с матерью подсаживались к тебе на пляже. Вы болтали мило и ни о чем. Я растерялся. Ласковые взгляды. Обдуманная любезность. Порыв навстречу, пылкий, но весьма неопределенный. Подозрительно. Чересчур пылкая твоя новая подруга – мамаша Сесиль. Может, у вас общие секреты, мне не ведомые? Потом я решил, что вы всё про нас знаете и что сами и затеяли лишить меня невинности – путем здоровым и необременительным. Довольство и самодовольство сменились унынием. Значит, тут нет моей заслуги! Просто две мамы обязали Сесиль научить меня кобелиному делу! И всю неделю я сторонился ее. Она подошла первая: может, встретимся еще в кабинке? Я два дня сопротивлялся, потом не выдержал, сдался. И опять я в главный миг подумал о тебе. Даже испугался: если и дальше так будет, дела мои плохи. И сделал над собой героическое усилие. Нет, нечего развивать в себе чувство вины! Нечего валить все в одну кучу! В такие моменты я не в ответе за всякую чертовщину! Сесиль заверила, что со мной все в порядке. Я тем не менее на всякий случай спросил, любит ли она меня. Она застенчиво хихикнула: поживем – увидим, а попробовать, хоть на время, можно. Не знаю, огорчился я или обрадовался. Сесиль была умелой и быстро меня обучила. Чего ж мне боле? Встретились мы в кабинке еще раза три-четыре. Возможно, ты и видела, но не возражала. Потом каникулы кончились. Я уехал целоваться с Лафонтеном, обниматься с Шарлоттой Корде, тискать Карла Великого, спать с Кольбером и Людовиком XI, чтоб изменить им во втором полугодии с Марией-Антуанеттой и маркизой де Помпадур. Увижу ли Сесиль на следующий год, я не знал и мечтал о ней все реже и реже. Вскоре ты объявила, что в Мариакерке мы больше не поедем. Дела отца пошли в гору, в августе снимем, где народу поменьше, к примеру в Кнокке. Память о Сесиль мало-помалу стерлась, правда, пропала не вполне. Была даже благодарность, хотя она улетучилась раньше. Видимо, потеря невинности оказалась для меня делом пустячным. Ты тоже так считала и была очень довольна. Обошлось, так сказать, малой кровью.

## Париж, декабрь 1976

Ты призналась, что ходила гулять одна. Я мягко пожурил тебя: на прошлой неделе ты два раза падала и доктор запретил тебе выходить без провожатых. А ты: Боже ж мой, неужели умереть в постели лучше, чем на улице или в лифте? На тумбочке у твоей кровати десятка два пузырьков и коробочек с таблетками. Не перепутаешь? На мой вопрос ты улыбаешься: что ж, значит, судьба тебе умереть от таблеток. Я протягиваю письмо, пришедшее сегодня утром в одиннадцать. Ты глянула небрежно и бросила на столик: дескать, все равно ничего ни от кого не ждешь, а приветы твоих старых перечниц тебе не нужны. Сегодня ты смогла одеться сама, и то хлеб. В окне видна верхушка Эйфелевой башни. Стало быть, заключаешь ты, погода хорошая. Встаешь. Руки у тебя трясутся, словно вот-вот оторвутся. А ты говоришь: не стоит беспокоиться, просто руки что-то отказывают, то есть не совсем отказывают, но слушаются с трудом. И еще говоришь, что скоро не сможешь одна дойти до уборной. Третьего дня не донесла, наделала на пол, было очень стыдно перед хозяйкой. Старость – не радость, плохо, когда заживешься. Выходим мелким шажком из комнаты. За меня ты не держишься – опираешься о стены. Бодришься, хорохоришься. Проходя мимо кухни, весело говоришь кухарке «здрате, мадам». А мне объясняешь военную хитрость: если не показать им, что ты ничего еще, выгонят к черту и придется идти в богадельню, а там старухи орут день-деньской, а по ночам встают задуть соседку.

Лифта ты боишься панически. Вцепилась в меня и вжалась в угол, точно ждешь, что лопнет трос. А на ступеньках в подъезде успокоилась: все четыре одолела сама, с палочкой. На улице останавливаешься через каждые десять-двенадцать метров. Похоже, только глаза не отказывают тебе. Первая остановка – у третьей витрины тут же, на Гренель: смотришь на брошюры об австралийских авиалиниях и сине-зеленых пакистанских мечетях. «Пакистан, – спросила ты, – находится в России?» Объясняю, но ты уже устала и обрываешь: дескать, слишком много на земле правительств и городов, и новых, и старых, восставших из пепла. Вдохнула разок, потом спохватилась, ищешь мой взгляд, хочешь продемонстрировать, что старость не радость. Твоя левая нога почти не слушается, но ты упорно дергаешь бедром, встряхиваешь ее. На миг застыла у антикварной лавки, загляделась на пять-шесть золоченых ангелочков, задумалась. «Боже ж мой, – говоришь, – и что только в наши дни не покупают! Не разбираются нынче люди в вещах, эксперты все – воры, а покупатели и такому бараклу рады-радехоньки, потому что бесятся с жиру». Прошли еще немного. На углу авеню Де-ля-Бурдонне ты приникла к стеклянной двери: увидела ровные рядки почтовых марок. Я объясняю, что эти марки – французские, но не Франции, а бывших французских колоний, ныне независимых стран. Злобно отвечаешь, что я строю из себя всезнайку, а сам, по всему видно, круглый невежда. Сделали еще пять шагов, и ты сменила гнев на милость: сыночка дорогой, ты столько всего знаешь и никогда ни в чем не ошибаешься. Подошли к светофору.

Ноги у тебя подкосились. Поддерживаю тебя обеими руками. На той стороне – скамейка. Ты показываешь на нее слабым кивком, хочешь сесть. Умрешь, а дойдешь.

Действительно, дошла, села, немного успокоилась и заявила, что в Нью-Йорке поздняя осень мягче, деревья еще не облетели, и листья желтые, но очень красивые. Ты-то, мол, в гробу, такой красивой не будешь. Я развлекаю тебя байками. Говорю: помнишь, был такой Саша Гитри? Тут его дом неподалеку. Двадцать лет, как умер, а его пьесы и фильмы вдруг полюбили. Когда его очередная жена ушла к Пьеру Френе, он сказал приятелю: «Теперь Френе увидит, как мало мне нужно». Ты засмеялась. Сначала неохотно, но потом захохотала. Да, говоришь, французы народ хоть и противный, но самый остроумный на свете. Я украдкой смотрю на часы. Пытка подходит к концу, пора возвращаться.

Но ты так не думаешь. Достаете из сумочки два очищенных апельсина: сыночка, хочешь? Я говорю: перчатки не снимай и не расстегивай пальто. Ты восклицаешь: значит, все-таки любишь хоть немножко старуху мать, а ты уж думала было. . . ну, вот, теперь не будешь так думать, а я сам должен смотреть, чтоб не простудиться, и под машину не попасть, и вообще, мало ли что. Молчим, жуем апельсины, держа их в платке, чтобы не закапать пальто. Ты простонала: вечно эти марки! Куда ни пойдешь, они тут как тут, как нарочно. Зрачки расширены, ты в ужасе, по лицу пробегает судорога, точно вот-вот потеряешь сознание. Поднимаю тебе воротник, а ты, рванув, опускаешь его: тебе жарко, ты хочешь домой немедленно. Беру тебя за руку, но ты вырываешься. Нет, сейчас ты пойдешь вон в тот магазин и спросишь, не заходил ли сегодня к ним твой муж купить марок. Отвечаю предельно осторожно, что не заходил и не зайдет уже никогда. Хихикнула: ну, разумеется, ведь твой муж теперь – я. И вдруг согнулась. Не подхвати я тебя, упала бы. Снова выпрямилась, лицо вдруг стало спокойное, рассыпаешься в извинениях: теперь ты все и всех путаешь, неладно что-то с памятью. А я думаю, что ты молодец: прогулка утомительна, но ты не сдаешься, без нее ты была бы живым трупом, без пяти минут просто трупом. А возвращаться, говоришь, нам еще рано, пойдём дойдем до авеню Боске. По дороге ты сообщаешь, что ученик парикмахера вон из той парикмахерской каждый день в полпятого встречается с продавщицей вон из той бакалеи, кажется португалкой, и они вместе идут на рю Де-л'Экспозисьон, на часок-другой в номера, где никто ни на кого не смотрит. Ах, что за дивные фрукты: яблочки красные, бананчики желтые, апельсинчики оранжевые, все-таки, что ни говори, Франция портится, портится, а до конца никогда не испортится! Ты развеселилась, хотя время от времени останавливаешься и прижимаешь палку набалдашником к сердцу. Ох, как бьется, колотится, стучит, как молоток, ждешь, ждешь, пока успокоится.

Хочешь, зайдём в кафе? Нет, ты опять молодцом. Готова идти дальше. В этом кафе один сброд, а хозяин как трубочист, и свитер у него с мокрыми пятнами под мышками, не хватало еще распивать тут чай! А время, что ни говори, идет вперед. Раньше, к примеру, клубнику круглый год не продавали, и редиску, даже самую плохонькую, тоже только в апреле. Очень и очень жаль. Придумают еще чего-нибудь, когда нас с тобой давно не будет. Да, говорю. Что еще я могу сказать? А ты говоришь, что видишь, как надоела мне до смерти, что, не будь я такой вежливый, давно бы послал тебя к черту и ушел бы, а ты бы пошла домой одна, ноги у тебя подкосились бы, ты свалилась бы и сломала бы себе шейку бедра. В общем, не понимаешь, почему никак не помрешь, зажила, ясное дело, и это уже даже неприлично. Я пытаюсь перевести разговор: смотри, вон кондитерская, может, зайдём, съедим по пирожному? В ответ ты заявляешь, что кондитерская эта из здешних четырех – самая плохая. Они, негодяи, наверно, пекут не на масле, а на сале, может, даже на свечном. Я с готовностью захохотал – хочу сделать тебе приятное.

Потом ты объявляешь мне, что хочешь переписать завещание. Как я думаю, спрашиваешь,

что лучше: закопать тебя или кремировать? Отвечаю: поговорим об этом лет через пять-шесть. А ты: дурак, надо смотреть правде в глаза. Убираю улыбку: святое право каждого распоряжаться собственным прахом. Но ты уже говоришь о другом. Хочешь перечесть Пастернака, а пока просишь купить тебе последний «Пари-Матч». Обожаешь читать про Онассиса. Он дядька жизнерадостный и порядочный, а его Кеннедиха похожа на глупую лису. Скелетина кривоногая. Лучше б он женился на Мэрилин Монро. Вот это была бы пара так пара! Идем обратно. Ты запыхалась, надоело гулять. Удивляешься, с какой это стати на товары и всякие такие мелочи в хозяйственном уже два с лишним месяца скидка? Нельзя же столько времени продавать на двадцать процентов дешевле! Тут, судя по всему, дело нечисто. Рядом с твоим домом ночной ресторан. Тоже ни в какие ворота. У гитаристов на фото патлы, просто черт-те что, шуты гороховые. Разве Яша Хейфец, Бруно Вальтер и Тосканини так ходили бы?

У лифта отпускаешь меня очень весело: надо же, сколько времени угрохал на старую развалину! Теперь поднимешься одна. Пусть хозяйка видит, что ты еще ого-го. Но я не ухожу. Поднимаемся вместе, звоним, хором опять здороваемся с кухаркой: да, да, конечно, погуляли прекрасно. Входим к тебе в комнату. Ты скидываешь туфли, падаешь на кровать. Устала как собака. Я сажусь в кресло, наливаю тебе воды. Хочешь тонизирующее? Размышляешь – выпить из зеленой склянки или из красной? Решаешься на простой аспирин. Кожица у тебя под подбородком подрагивает, руки словно изъедены венами. Ты показываешь на чемодан на комод. Скорей, сыночка, нам некогда, поезд через полтора часа. Я изумлен. Осторожно спрашиваю, далеко ли ты собралась. Говоришь – переезжать, отец ждет в Нью-Йорке или в каком-то другом городе, в каком точно не помнишь. Я успокаиваю – сперва отдохни немного, поспи, восстанови силы. И как бы между прочим замечаю: вообще-то ты тут живешь постоянно. Ты уперлась: отец отпустил тебя отдохнуть, а ты загуляла. Бормочешь что-то, совсем, зарапоровалась, ушла в себя. Смотрим друг на друга. Вроде уж обо всем говорено. Кажется, ты меня принимаешь за кого-то другого – за врача или, может, бандита, потому что глядишь испуганно. Потом объявляешь: все писатели – картежники и горькие пьяницы, ты, сыночка, не бери пример с Пушкина и Лермонтова, а бери с Толстого. И у тебя ко мне большая просьба: если ты заговоришь об отце как о живом, я должен напомнить, что он умер, ты человек еще сильный и сможешь вынести правду. А Роми Шнайдер – самая, наверно, красивая актриса во всем мировом кино. Только напрасно она живет с этим мордоротом Бельмондо. То ли дело Мозжухин, Менжу, Джон Барримор, изящные, благородные. Теперь таких нет и не будет! Все вырождается. Куда ни кинь, всюду клин. Сейчас вот немножко отдохнешь, потом встанешь покушаешь. Дают почти всегда одно и то же: щи, кусок вареного мяса и компот. Тебе все равно, лишь бы прожевать. С этой минуты между нами ничего нет, кроме пустой болтовни. Галстук у меня безобразный, совершенно не идет к костюму, культурный человек должен за этим следить. Ты мне подаришь галстук – изумительный, мне безумно понравится, ты в этом уверена.

## Брюссель, осень 1939

Врачи сказали, что у твоей матери неоперабельный рак. Ты тотчас проявила непоколебимую решимость. Призвала отца, мужа, сына и брата Армана с женой Матильдой. Объявила: действовать следует немедленно. Про себя ты все решила. Необходимо обеспечить матери максимум удобств и заботу не только физическую, но и душевную, и лично ты своей души не пожалеешь. Надо положить конец всякому колебанию и всякому сомнению – о больнице не может быть и речи. В больнице среди чужих мать сразу поймет, в чем дело. Сперва, однако, ты попросила совета, словно не знала, с чего начать, что предпринять. Дед только вздыхал и плакал, он явно был потрясен известием. Ты повернулась к Матильде. Несчастье касается ее не так прямо, и, возможно, она отнесется трезвее. Но Матильда разумно возразила, что любовь и горе – советчики самые трезвые, поэтому решать не ей, а вам – тебе и деду. Армана ты выслушать не захотела. Человек он, дескать, ненадежный, и рассчитывать на него нельзя, то есть ты его не ругаешь, а просто констатируешь факт. Отец тихонько напомнил: мы здесь не затем, чтобы констатировать факты, а затем, чтобы вместе принять решение. Дали слово Арману. Он предложил: отвезти мать домой, к отцу, и каждый день, если надо, вызывать медсестру-сиделку или монахиню – они будут ухаживать как нельзя лучше. Именно этого ты и не хотела. Брату с невесткой ты прописала по первое число: мать никогда его не любила, тридцать лет он позорит семью, женился на горничной и сам бездарь, дурак, торгует своими дурацкими радиоприемниками, ты с ним как с человеком, а он с тобой как скотина, сейчас видно – свинья бесчувственная.

Арман с Матильдой встали: если так, они вообще уйдут. Дед торжественно поднял бородку и пробормотал: «Ладно, дети, дети, не надо...» – и немного утишил страсти. Ты продолжила дебаты, вдруг присмирив. Смирение скрыло твои чувства. Ты даже попросила у Матильды прощения. Боже ж мой, конечно же, ты ничего такого не думала, просто, во-первых, тебя возмутил Арман со своим скучающим видом, и, во-вторых, ты не спала: попробуй засни, когда у тебя умирает мать. Матильда за весь вечер не сказала больше ни слова. Арману и вовсе ссора была на руку: он зажег сигару и завесился голубоватым табачным облачком. Впрочем, вскоре его вызвали по делам в Кельн, и он так и так предоставил решать все другим. Дедушка тоже решать отказался. Промямлил, что несчастье его подкосило, что в восемьдесят один год у него и сил-то на решение никаких нет. Хочет помочь, сказал, а как не знает. Бойся только одиночества по ночам. По ночам одиночество – страшное дело. Кивнув на дедово бессилие, ты сказала, что есть один только выход: мать проведет свои последние дни у тебя. Ты обеспечишь ей полный уход, это ясно всем. Дедушку ты заверила, довольно презрительно, что будешь навещать его часто – часто, насколько сможешь, и я тоже, и Арман с Матильдой, разумеется, ты уверена. К тому же, предложила ты, следует поставить в известность кое-кого из дальней родни, а также друзей и, может быть, соседей по площадке.



Дед, таким образом, потихоньку привыкнет, что осиротел, и в конце-то концов мы же тоже осиротели. Мне твой вердикт показался верхом жестокости. Я даже взял слово, чтобы все видели, что я сам по себе. Когда речь идет о жизни и смерти, сказал я, каждый поступает по совести, а не по приговору суда. Меня не одобрили. Один Арман, жуя мокрый окурок, сказал: «Вот вернусь из Кельна, зайди ко мне в контору, свожу тебя пообедать в «Таверн дю Пассаж», там потрясающая крольчатина».

Таким образом, ты все решила единолично, не дав отцу и рта раскрыть. Он, ясное дело, согласился с тобой целиком и полностью. Бабушка после обследования с неделю жила дома, вязала, слегка хозяйничала и пила липовый отвар, считая, что лечится. А у нас дома, по твоей милости, все вверх дном. Спальня и ваша с отцом кровать – бабушке. Вы с отцом – в гостиную. Спешно внесли железную кровать. Что ж, значит, гостей принимать не будем. Но, Боже ж мой, до гостей ли теперь? Лишние вещи – в кабинет к отцу. Отец потеснится. Сыночкину комнату не трогала. Она и так мала, и там у тебя, с тех пор как я переехал, просто кладовка. Закончив генеральную перестановку, занялась обновлением и украшением спальни. Подшила к шторам кружева и убрала зеркала, чтобы бабушка не расстраивалась. Взамен повесила эстампы со средиземноморскими пейзажами. В три дня обойщики переменили обои – светло-коричневые переклеили на розовые. Последний штрих: расставила везде цветы и зелень. И еще купила кресло-качалку, в рассрочку, чтобы отец не ругался, что ты мотовка.

Бабушка переехала в девичью светелку. С утра до вечера ты уверяла ее, что она совершенно здорова, надо только очистить кровь после всего этого неправильного питания. Но лечение – дело долгое, так что пусть наберется терпения. Для пушей убедительности ты пустила в ход медицинские термины. Термины бабушку убедили. Но слабела она не по дням, а по часам и спустя три недели слегла уже окончательно. Врач приходил каждый день. Ты из дома не выходила, даже перестала готовить. Отец питался где придется, к счастью, поблизости было полно забегаловок. Варила ты только для бабушки и свято оберегала ее душевный покой. Все было обдуманно-деликатно. Режим дня рассчитан с точностью до секунды. Утром, как встанешь, несешь бабушке завтрак, вкусный и сытный: поджаренный хлеб, яйцо в мешочек, кофе с молоком и варенье. Варенье каждый день другое: черничное, клубничное, малиновое, айвовое и английский апельсиново-лимонный с особым ароматом джем. В солнечные дни ты раздвигаешь шторы, открываешь окно. Звон трамвая, иногда птичий щебет. В пасмурные дни солнце ты заменяешь цветами, ставишь их на низенький столик. После завтрака лекция о международном положении. Исполнение твое, цензура тоже. В Европе все спокойно, Даладьё с помощью Чемберлена урезонил Гитлера, войска на границе просто для перестраховки и больше ни для чего, в Германии скоро выборы, нацистам, разумеется, не удержаться, Сталин не вмешивается, Россия, несмотря на тамошние ужасы, страна мирная.

После лекции – трудотерапия. Сама бабушка вязать уже не могла, и ты вязала за нее. Она руководила, а вы вместе решали, кому этот свитер – или отцу, он мерзляк, но не любит сиреневый цвет, или мне на зиму, потому что в университете сыро, или Арману, он все время в разъездах, а на вокзалах и в гостиничных коридорах вечно сквозняки. В десять тридцать отбой. Бабушке нельзя переутомляться, пусть поспит. К тому же не стоит сидеть около нее все время – чего доброго, испугается. Словом, и волки сыты, и овцы целы. Около полудня – доктор. Пощупает пульс, измерит давление, выпишет аскорбинку; к середине октября, впрочем, пришлось уже делать внутривенные уколы, к бабушкиному ужасу, но ты успокоила – бабушка окрепла, можно начать радикальное лечение. Итак, далее обед. Все очень празднично. Пир вдвоем, более никто не допущен. На подносе творожок с простоквашкой, пюре и одна гвоздика или розочка. Иногда вместо цветка подарок – фигурка саксонского фарфора, старинный ключ, наперсток с бриллиантами или музыкальная табакерка. Это даже не подар-

ки, а темы для приятной болтовни, приятной и только приятной. К примеру, ты сообщаешь, очень убедительно, что фарфоровая кошечка в восьмидесятые годы принадлежала одной вашей дальней родственнице, а подарил кошечку вюртембергский принц, когда был в эту вашу родственницу влюблен. Вы делаете вид, что выяснили, кем именно родственница вам приходится. Заодно приплетаєте каких-то забытых русских, молдаван, татар, славян. Сливаются душой, вспоминая то, чего не было.

Тем временем пюре проглочено, заедено черносливом и запито липовым чаем. Теперь разговор о цветах. Вы спорите о достоинствах резеды, пионов, орхидей, ноготков, фуксии и анютиных глазок. Но в споре истина не рождается, ибо о вкусах не спорят. Ну и ладно. Кстати обсудили одесский и херсонский парки и симферопольский городской сад – незабвенный, потому что в Симферополе дедушка родился, вырос и ухаживал за бабушкой, ухаживал долго и упорно. Ты как бы невзначай перешла на скорое бабушкино выздоровление. Надо бы, говоришь, поехать ей на курорт. Новая тема – курорты. Ты не знаешь, но приятельницы говорили, что в Карлсбаде голубые горы и целебные воды; в Ля-Бурбуль запрещены автомобильные гудки, чтобы не нарушать покой отдыхающих; в Монте-Карло толстосумы нанимают по три-четыре телохранителя, и те на рассвете не дают им после проигрыша застрелиться. Потихоньку бабушка задремлет, и ты уйдешь, усталая, но с чувством выполненного долга. Тайком от всех запираешься на кухне и рыдаешь взахлеб. Выйдешь опустошенная, но просветленная.

Затем, ближе к вечеру, ты опять идешь к бабушке, читаешь ей вслух. Выбираешь что-нибудь не слишком глупое, но и не заумное – Грибоедов, Гиппиус. Читаешь понемножку. Если видишь, что бабушка потеряла нить, начинаешь снова. В семь приносишь ужин. Почти всегда овощной супчик и куриная грудка. Уходя, поправишь подушку, придвинешь колокольчик на тумбочке к самому краю. Если что, бабушка позвонит. Предосторожность, впрочем, излишняя. По крайней мере один раз, в три часа ночи, ты встанешь, подойдешь к ее двери, послушаешь дыхание. Режим дня блюдетесь строжайше. То же и для гостей: расписание для них не дозволено нарушать никому, особенно дедушке. Его допускают через день на десять минут во избежание взаимных охов-вздохов. Для вящей убедительности ты сослалась якобы на мнение врача и заявила, сочинив на ходу, очень авторитетно: нашей больной необходимо соблюдать эмоциональное равновесие во избежание сердечного приступа, в связи с чем малейшее волнение представляется опасным. Дед смирился. Иными словами, согласился не говорить больше с бабушкой по душам. Его чувствами при этом ты не поинтересовалась. Каши из чувств не сваришь. Что до нас с отцом, то мы получили право на две минуты в день – поздороваться, улыбнуться и сказать, что бабушка прекрасно выглядит. С нами, правда, вышла осечка. Отцу, от природы застенчивому, было неловко любезничать, а мне просто было лень ташиться к вам. Так что расписание мы не блюли, а заходя к бабушке, то хмуро косились, то сюсюкали не в меру.

Арман с Матильдой приходили дважды в месяц, не чаще, не надо толпиться, не то будем выглядеть, как воронье над падалью. Зато друзей и знакомых строгости не касались. У них – больше прав и свобод. Бабушка их не любит, придут, не придут – все равно. И любезны они или нет, тоже все равно. Зато не все равно, что они вносят разнообразие, оно полезно для здоровья. Но конкуренции, как я постепенно заметил, ты не терпишь. Твои права на бабушку исключительны и абсолютны, потому что никто, по-твоему, не смог бы ходить за ней так, как это делаешь ты. Итак, два с половиной месяца самоотверженности. Ты устала и сделалась сварлива, ревнива, раздражительна. Бабушка худеет, лицо, прежде круглое, теперь стало костлявым, дыханье почти все время прерывистое, часто – хрип с металлическим присвистом. Врач выписал морфий. Ты поняла: конец близок и боль снимают любой ценой. В начале

сентября ты сказала мне, что бабушка дотянет самое большее до Рождества. Не говори ей, что началась война. Мол, бабушка приходит в сознание минут на десять-двадцать в день и нельзя отравлять ей эти мгновения. Но я вдруг взбунтовался. Нет, я не против твоих указаний! Я против твоего поведения в целом! Это ж надо, узурпировала умирающую! Командуешь чужой смертью! Кого ты хочешь обмануть? Дураку ясно – наделала дел в молодости, еще до моего рождения, а теперь хочешь искупить вину! Обращаешься с бабушкой, как с вещью! Точно оберегаешь ее от воров! Значит, мы, по-твоему, воры! Хочешь одна страдать! С нами не делишься! Мы, по-твоему, переживать недостойны!.. Поистине я стоил тебя – тоже присвоил право говорить за всех.

Поначалу ты не отреагировала. Главное для тебя – мать, ежечасно, ежеминутно, остальное не в счет. Прошло, однако, несколько дней – и тебя вдруг точно подменили. Решила, что ли, наверстать упущенное. От бабушки ты несколько отвлеклась и переключилась на меня – жадно, алчно. Словно осознала: объект забот не надежен – и надо готовить другой. Бабушка, считай, отрезанный ломоть, перспектив нет. А вот я перспективный, на мне можно развернуться – не просто слегка опекать, а заботиться до самозабвения. Ты объявила: мне девятнадцать, это бесценный дар и нельзя зарывать его в землю. Идет война. Что с нами будет завтра? Какая катастрофа грянет весной? А ты, оказывается, думаешь обо всем. Бабушки не станет. Муж – человек апатичный, где-то даже намеренно безразличный. Получается, что будущее принадлежит мне. Но какое у меня может быть будущее во времена Гитлера, Муссолини, Франко и Сталина? И ты протянула мне две тысячи франковые купюры. Дескать, где взяла, не спрашивай. Просто погуляй как следует, потрать на девочек, на любые сумасбродства! Жизнь коротка и трагична. Пользуйся, пока молод, возьми от нее все! Ты, мать, этого очень хочешь. Есть кино, театр, путешествия в Париж, есть разные удовольствия. Помнится, когда дружил с Мари-Жанн, играл в покер. Что ж перестал? Другими словами, хладнокровно приглашала меня распутничать. И внезапно я возмущился. Стал с тобой зол, груб, черств. Погрешил даже на морфий, подумал: не иначе как урвала немного и себе от бабушкиных уколов. Или просто дошла до точки.

Теперь ты воевала на два фронта. Один, считай, потерян, и ты с каждым днем перебрасывала все больше сил на другой. Уже продала на мою гульбу ожерелье и два кольца. Заставила отца давать мне больше карманных денег. Он что, не слышит стук солдатских сапог? Не чует угрозы? Не знает, что через пару недель забреют и меня, несмотря на мою студенческую отсрочку? В один прекрасный вечер, в ноябре, ты вручила мне очередной конверт. В нем лежали золотые монеты. Бабушкины – пояснила ты. Ей все равно уже ни к чему... А о себе, стало быть, ты и думать забыла. Все мое недовольство тобой, всю подозрительность вмиг как рукой сняло. Как к тебе относиться, я теперь и сам не знал. То ли бес самопожертвования действительно поделился в тебе на нас с бабушкой, то ли ты сама не своя от горя. А я-то тоже хорош! Продаюсь за подачки, торгую жалкими остатками уважения и сыновней любви! А ты вдруг объявила родне: делайте что хотите и приходите когда хотите. Бабушка почти все время без сознания. Оберегать нечего и некого. И снова наконец ты снизошла до родных и отреклась от власти. Я даже сомневаюсь, что в последние бабушкины минуты ты из кожи вон лезла. Бабушка умерла в начале декабря, во сне. Похоронами занимался Арман. Ты же палец о палец не ударила. И на кладбище не пролила ни слезинки.

## Париж, 1972

Вспоминаю о тебе мельком, в краткие паузы между писанием книг и статей или чтением лекций в Лиссабоне, Флоренции, Эдинбурге, Тулоне, Льеже, Мадриде. Когда человек сам себе хозяин и с собой в ладу, на что ему старуха мать? Чувства у меня к тебе самые банальные. Свою жизнь я сделал сам. Похвастаться могу немногим: упорством, дерзостью с долей наглости, здравым смыслом и умением остановиться вовремя. Заскоки и выкрутасы, конечно, присутствуют, преодолевают исподтишка, но в открытую им со мной не сладить. Выручает писательство. Я не писатель, так сказать, с большой буквы, я просто пишуший, писака, чем вполне горжусь. Я ничуть не служитель муз. Считайте – просто человек, собеседник и говорун, ввожу в заблуждение, морочу голову. Пятнадцать лет писаний и черканий, порой удачных, убедили меня, что литература – вещь простая. К себе тоже отношусь трезво. Главное мое правило: не идти на поводу у собственных фантазий. Сюрпризы и вымыслы ненадежны. На особенном, этаком и внешнем, и внутреннем, далеко не уедешь. Но я ничего не предписываю и не навязываю ни себе, ни читателю, более того, из уважения к нему слежу за языком и стилем. Только форма, по-моему, спасет и оправдает любые порывы. Но что бы ни писал я, еще важнее – не изрекать, не считать себя истиной в последней инстанции. Писатель – не высший судья. Порой, изредка, одолевает меня и поэтический зуд. Это физическая потребность, которая сильнее меня. Но жертвой ее не стану. Я приму ее, но рано или поздно, на моих условиях: написанное должно быть понятно другим. Да, стихосложение – потребность, пишу стихи, как дышу, заслуг моих тут нет, я им не сторож, не нянька. Но в том виде, в каком они являются, читателю представить не могу: я уважаю ремесло и, явись они мне готовенькие, все равно нашел бы, где поработать, отшлифовать, отточить, сделать из слов произведение именно искусства. Мой ответ вдохновению – труд. Вдохновение – журавль в небе, труд – синица в руках. Надеюсь, такое отношение к поэзии извиняет мои поэтические амбиции. Тем больше я сижу над строкой, тем больше превращаю поэзию в труд. Поэтический труд становится работой, как и все другие, и требует усилий и усидчивости. Конечно, в глубине души я верю, что он приведет к озарению, откроет высшие тайны. Тайны мироздания, к примеру, или человека, когда он не скован никакими законами. Иными словами, поэзия – моя вольница, но – в жестких рамках, бунт, но тайный, тайком от всех и вся. Что же все-таки это значит? Сам не знаю. Значит, скорее всего, многое. А я думаю – волшебный фокус, иначе не скажешь. Но сказать попробую – не хочу выглядеть в глазах читателей фокусником и шулером. И с удовольствием заявляю: поэзия моя – борьба высшего смысла с бессмыслицей. Да, мне по сердцу палка о двух концах. Заодно и читатели еще разок подумают о жизни. Правда, это будет стоить им большой крови, ибо способ непривычный. Но – и малой, если они люди непредвзятые.

Понимала ли ты мои стихи? И меня самого, когда в стихах и врал, и говорил правду? Ты

смотрела на меня только обывательскими глазами. Так что в этих глазах я остался лишь тем, что говорил и делал, формой, а не сутью. А суть была тебе безразлична или вовсе мешала. Литература, по-твоему, – то, что налицо, байки и шарм. Всякая заумь неприлична. И нечего искать то, чего нет. Ты даже, пожалуй, из чистого упрямства отказалась пойти за мной в глубь, ненадежную, неверную. Правда, было время, когда ты могла понять это. Когда ты играла на скрипке, и позже, когда немного лепила, ты понимала это незримое, бесплотное. Чувала его в Бетховене и Моцарте, Родене и Бурделе. Видела, как творение становится больше автора. Но сыночка твой разве такой талант? А если такой он талант, значит, не принадлежит уже своей матери! Думаю, ты считала, что я просто способный. И возненавидела бы меня, признай ты во мне гения ну или что-то в этом роде.

Успокойся, не гений я! Даже и поэт не настоящий. Возможности мои скромны, я знаю и смирился. Просто я в форме, когда живу ни дня без строчки. А ведь для поэзии этого мало. Но я люблю писать, люблю стучать на машинке, вытаскивать листки из кармана в кафе или метро, у моря, ручья, холма или при подружке, министре, чиновнике и кропать, и кропать, как дышать! Моя поэзия, пусть бездарная, – мне отдушина. И я прилежен, как кассир в захолустном банке или вышивальщица в темной комнате. Пишу и прозу – свожу счеты с веком. А что толку? Если я прав, труд мой забудут. А если не прав, то и зачем трудился. . . Рассказов своих не люблю. Они как сценарии для плохих фильмов. Но прозой я утешаюсь, когда не могу писать стихов. Выходит, весь мусор и шлаки выплескиваю в нее, и на том ей спасибо, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Говоришь, пишу я тяжело и порой с вывертом. Но признай и другое, и ни к чему тут ложная скромность: почти год грязной прозы – и пара недель чистой поэзии.

У моей прозы назначение скромное. Прикрыта она вымыслом или нет, всегда она только – автобиография. Пойми, что быть можно перенести в сказку и слить их в одно. Мое тело – это все мои мании и фобии. Между селезенкой и плеврой, ближе к тонкой и толстой кишке, – чувствилище, то есть отношение к де Голлю, Джону Кеннеди, Вилли Брандту, Индире Ганди, Моше Даяну и Кастро. И потому мне они в сто раз ближе тебя. И когда тревожусь или вздыхаю с облегчением, то думаю не о тебе, а о войне в Биафре и в Бангладеш, о поездках Никсона, богатстве Саудовской Аравии, перенаселении Земли и трех жалких шажках Нила Армстронга по Луне. Я, к твоему сведению, заодно со всеми ними. И родня мне не ты, а они, Армстронги и Никсоны. Пусть они обо мне даже ведать не ведают. Мое собственное взволнованное воображение полно ими. А тебя, как видишь, я в себя не впустил. Не положено, по всемирному, так сказать, протоколу. Но и ты платишь мне тем же. Ты вникаешь в мои писания поверхностно, не в суть. Считаешь их жестокими, излишне язвительными, давящими, безысходными. По-твоему, они не успокоенье, а пытка. И в ответ на это я шлю тебе Кафку, Беккета, Буццати и прочих. Ты прочтешь страниц десять-двадцать, скажешь – такие же противные, как и я, – и шлешь обратно. Что ж, я сам виноват. Насильно, тем более упрямой старухе, мил не будешь. Жду: а вдруг наступит просветление и ты все поймешь? Но вижу удовлетворенно: с тем же успехом можно ждать, что ты пройдешься колесом или споешь Валькирию в Байрейтской опере!

Вообще, ни стихи, ни романы меня не кормят. Журналистика – заработок надежнее. На хлеб хватает, при условии, что и Мария свои восемь часов в день отсидит на службе в конторе. Пишу для двух ежедневных газет и нескольких еженедельников. Веду в них рубрики поэзии, прозы и современной живописи. Бывает, газета сменит владельца или вовсе закроется. Немного тренировки – и я готов к новой публике. Чрезмерных амбиций не имею: кто платит, тот и заказывает музыку. А я – посредник между поэтом и чернью. То есть объясняю поэта, даже упрощаю, черни в угоду. Почти как сутенер или сводня. А труд всякий почетен. В

статьях я рву и мечу. Кто не читает ни Обальдии, ни Пинже, ни Барта – дурак. Кто читает Саган и Пейрефита – подонок. Кто любит живопись, идите смотреть Матту и молодого Ли Юаня. А кто смотрит Бюффе и Брейера – тупая овца, и надо ее, к такой-то матери, на бойню. Выражений я не выбираю, а времени смягчать и править нет. Так что заранее предвкушаю реакцию. А ты ругаешь меня именно за прямоту. Наживу, мол, себе врагов. Лучше не задевать. Умный ли, глупый, не все ли равно, лишь бы человек был хороший.

Тебе больше по вкусу другая моя работа. По совместительству я – литературный коробейник. А именно: езжу с лекциями по Европе, залетаю поторговать ими на месяц в Америку. К примеру, на Среднем Западе этот мой товар нарасхват. Тут ты довольна. Тем более что и со мной можешь повидаться; к вам с отцом по дороге как минимум раз в год заеду. И перед приятельницами – похвалиться. Скажешь им: сын писатель – никакого впечатления. А добавишь, что в Йеле, Гарварде или Колумбии читает лекции о – как ты говоришь – «французской культуре», дамы смотрят на тебя с немим восхищением! Но мне, по правде, от лекций радости мало. Так, прокачусь, поглазею, загляну в какое-нибудь захолустье, покружу у помойки в центре Эворы, подберу булыжник по дороге из Манчестера в Ливерпуль, поплаваю в роскошном бассейне между Денвером и Мемфисом, полюбуюсь статуей в Пласенсии или алтарем в Кремоне, отведаю сыр тридцатилетней давности в Гауде или Девентерс, восхищусь черновиком Дидро в гостях у миллиардера в Балтиморе, послушаю псалмы и моления на литургии в городишках Сплит и Нови-Пасар, съем на обед голубя, фаршированного берберским инжиром, у праведного судьи в Марракеше или лосося у неправедного в Абердине, проведу ночь с кандидаткой наук в Гейдельберге, потому что она тоже любит латинских поэтов, или с профессоршей в Катании, потому что она их не любит, или со студенткой в Торонто, потому что сама не знает, что любит, и молит на рассвете открыть ей на это глаза. А я, разумеется, являю миру французский ум и парижское остроумие. Публика обожает и то и другое. Благодаря моим лекциям, она еще больше любит Францию и любовь эту жаждет внушить детям. Но новому поколению французский язык – почти что китайская грамота. Торговать этим сладким, малость сушеным продуктом помогают мне послы, генконсулы, культурные атташе, ректоры-честолюбцы и пенсионеры-недоучки, безутешные вдовы французских героев – безутешны они в Белфасте, в Порту, в Сарагосе, Мессине, Зальцбурге, Батон-Руже. Продукт у меня на любой вкус. Только денежки давайте. Аристократам – розовую воду, недовольным студентам – горбушку из Вольтера, бульон из Ламартина, студень из Сартра, компот из Монтерлана, рагу из Мориака, шарлотку из Сен-Жон Перса, колбаску внарезку из Превера, чуток кофе из Арагона-без-кофеина. Словом, пища богов и лучших из смертных.

Но при этом все наспех и в спешке. Иной раз заскочу к тебе на минуту, от самолета до самолета. А иной – ты придешь ко мне на лекцию в нью-йоркский университет или в общество дружбы. И восторгаешься мной, просто тошно смотреть. Любишь за остроумие, говорливость, позу и, разумеется, образованность. А глубины боишься. Но интуиция у тебя безошибочна. Вот и внушаешь мне, что человек я и в самом деле поверхностный. Глаза б мои тебя не видели! Скорей проститься! Ты мне – мать, так сказать, на час, меж двух чемоданов, двух часовых поясов, между Жидом и Валери, Аполлинером и Доде, Вийоном и Ронсаром. Но где бы я ни был и что бы ни делал, одно знаю: я всегда вернусь за машинку. И выдам в газете на первой странице семьсот поносных слов Браку; или восемнадцать похвальных строк Томасу Манну; или шесть кратких плевков Моруа и Жюлю Ромену. Слушай, Бретон умер. Нет, постой, сперва статейку напиши, потом плачь сколько влезет. И меня точно плетью нахлестывают по всему телу: скорей, не думать, не размышлять, выдать суть в двух-трех словах! О неслыханное, извращенное удовольствие! Точно глагол берет меня, насилует и, натешившись, отпускает. Бесславный конец! Но кто же я, кроме прозаика и поэта? Врач, сутенер, строитель соборов,

инженер, торговец мебелью, мясник, министр, безработный, левый активист, фашист, капитан дальнего плавания, гинеколог, жалкий маклеришка? Честь и слава писателю – кормиться другой профессией! Лишь бы не журналистикой: чертов борзописец, та же проститутка! Не быть ему искренним, разучился, славословя почивших кумиров, стряпая некрологи, вымучивая рецензию. Строчит на злобу дня, почистив перышки. Так что одно из двух: либо журналист, либо писатель.

А я, видишь, и то, и то. В двадцать лет литература – игра. Поиграл в классики, покатался на велике, а теперь, назло папе и маме и дворовой шпане, напишу стишки. В тридцать игра, если вошла в привычку, – опасна, как карты, тотализатор или гашиш. Излечиться можно, но сложно, останутся шрамы. А в сорок и лечиться бесполезно. Или уж тогда радикальные средства – удаление, ампутация. Неизвестно, что лучше: одно излечишь, другое искалечишь. В мои пятьдесят с лишним – это все, что у меня есть, вся жизнь и вся правда. Я существую в книгах, без них меня нет. Писание – мне питание, и духу, и телу. Остальное – тьфу. Ну мог ли я сказать тебе это? Я плохой сын и не знаю, что значит – хороший. Я плохой муж, спроси у Марии, она скажет, что слово – и жена мне, и дом. Я плохой любовник, поматрошу и брошу в погоне за вдохновением, порой плодовитым, порой нет. Я плохой гражданин, не будет Франции – переводите на русский или хоть на китайский. Что это, глупость или гордыня? Судить не могу, а и мог бы, что толку? Я – это слова, слова, слова. В основном пустословие, но, если полстишка или хоть четверть останется, жизнь прожита не зря. Жалкое, конечно, утешение, аккурат чтобы выжить.

Тебе в моей жизни давно нет места. Правда, иногда затоскую, вспомню твое лицо, но тут же забуду. Изливать тебе душу нужды мне нет. Ты все портишь морализаторством, точно жизнь – сплошные «я не могу» и «я должен». А сама невольно поддакиваешь мне: я твой сыночка и я всегда прав. Но к артачишься; я твой сыночка и я поступлю, как поступила бы ты. Твоя любовь ко мне хищная, ты – волк в овечьей шкуре. В моей жизни ты – только урывками, внешне. Встречаемся редко, все, что наболело, измучило, заморочило, – если есть, спрячешь. Взаимные излияния наши с тобой условны, абстрактны. С каждым годом, думая о тебе, я все больше и больше додумываю. В дни наших встреч ты хочешь быть безупречной, я тоже стараюсь, хорохорюсь. Но мы давно отвыкли друг от друга и, несмотря на мгновенный искренний порыв, держимся неестественно. Да мне-то, в общем, все равно. Слова для меня с некоторых пор важнее людей. Иногда говорю себе даже, что люблю человечество, а не отдельных его представителей. И держусь от них подальше, чтобы холить и лелеять свой дар, не больно могучий. Отношения с Марией у меня нормальные. Никаких безумств и восторгов, ничего отвлекающего. Все эти потехи, вернее, помехи – компромисс, недостойный писателя. Этим пусть тешится обыватель. А я не отдамся не то что другим – даже самому себе. Конечно, у меня, как и у всех, есть друзья. Но для меня они – или производители, или потребители товара с идиотским названием «любовь». А главное мое предприятие – литература. Прибыльно только оно, остальное – мелкий бизнес, делишки, любвишки, страстишки. Эдакий я расчетливый сумасброд, колченогая юла. Но уж какой есть. Тебя я держу на черный день. Когда любить станет некого, на безрыбье займусь тобой. Буду жалеть тебя, если жалость окажется полезной для писания книг. Сама понимаешь, сделаю тебя своим персонажем. Таков мой, ни в похвалу мне, ни в осуждение, иммунитет к людям: пусть предают, боготворят, забывают, сами забываются, страдают, сами причиняют страдание, пропадают, умирают – всё на алтарь моим книгам. И ты не исключение. Первым делом ты дорога мне как литературный герой. Ничего, не расстраивайся. Искусство требует жертв. Нет сына, зато есть писатель. И может, напишу, напишу – и именно через писателя стану сыном.

## София, 1924

Сперва ты меня отругала: нечего играть на улице с незнакомыми мальчишками, все болгары дикари, особенно македонцы, а у Кочо родители горцы, ну и, ясное дело, он ко мне сразу драться. В эти дурацкие казаки-разбойники меня все равно обставят. И всегда у меня такой жалкий вид. И теперь вот, обмотали мне руки колючей проволокой, потекла, разумеется, кровь, и не подоспей ты вовремя, началась бы гангрена. Боже, понимаю ли я, что делаю? Болгары – почти что турки, а турки вам ни за что ни про что голову отрежут! Или я обещаю порвать с ними, или на всю жизнь останусь совершенно без головы! Я сначала немного похныкал, потому что не понял, как можно жить без лица и макушки. Потом понял: нельзя, а ты просто стращаешь и твоя логика устрашения из рук вон. Ты, пожалуй, даже глупей, чем я думал. Прочтя мораль, ты обмыла и смазала йодом ранки. От йода заболело гораздо сильнее, и несколько минут я считал, что ты еще хуже и болгар, и турок чистокровных. Ты поняла, что поцелуями и ласками боли не облегчишь, скорее, наоборот. Обрадовать вообще меня было трудно. Сладостей я не любил, а игрушки через два-три дня ломал, особенно куклы. Правда, любил всякие истории и больше всего – про твое или папино прошлое.

Истории так истории. Ты усадила меня в кресло с большой сиреневой подушкой, по одну руку комод, на нем обшарпанный футляр со скрипкой, по другую – грубый деревенский стол, служивший отцу письменным, с пакетиками из папиросной бумаги и черными кляссерами. Истории я запоминал по годам, потому что всегда помнил цифры. Так, мог пересказать факты по датам, факты при том никак не связывая. В тот день я попросил тебя рассказать про год 1910-й. Ты на миг задумалась и пустилась в длинный рассказ, сперва шутливо, потом взволнованно. Рассказ о поре, когда ты была юной счастливой красоточкой. Папа торговал кожами, продавал их в разные страны, многих уж нет, Черногории, например, или Сербии. Мама мечтала, чтобы ты после гимназии продолжила образование. Отец с матерью, как я впоследствии понял, всегда правы. Во всем и при всем. Считаешь, доченька, что все знаешь? Ну так узнаешь еще немножко. И ты поступила в Одесскую консерваторию и прекрасно училась. Хотя и веселилась. Веселье в меру полезно в любом возрасте. Бывала ты на балах, маскарадах, конкурсах красавиц. Порой хохотала так, что папа с мамой хмурились. В доме у вас было всегда полно гостей. Жили вы в центре, между Французским бульваром и бульваром Ришелье, писатели, артисты, художники – часто как снег на голову.

Стала описывать мой родной город. Я Одессы не помнил. Ты вздохнула: ну да, я же был совсем маленький, когда уехал. Ничего, когда-нибудь еще побываю, увижу, какая она красивая. Весной лилии там благоухали, как нигде. А моряки своими хрипылыми дивными голосами рассказывали о таких приключениях, какие Одиссею и не снились. Может, всё придумали, но это не важно. По вечерам воздух был светел, словно ночь не смела его коснуться. А лестницы у порта так головокружительны, что казалось, вот-вот город рухнет в сильнейшем,



упоительнейшем землетрясении. Я понимал не все. Ты испугалась было, что описала Одессу не красавицей, а чудовищем. Высморкалась тихонько, словно украдкой утерла слезу и сменила тему. Стала говорить о моем отце. В 910-м году он был богат, старше тебя на пять лет. Профессии не имел и жил на деньги, оставленные бельгийско-эльзасскими предками, строившими малороссийскую железку. Здесь ты сделала лирическое отступление, похвалила локомотивы, тягу, густой пар, семафоры, рельсы, вокзалы и друзей, ах, как они были взволнованны, когда встречали и провожали! Незнакомые слова я просил повторить и старался запомнить. С каждой фразой расширял свой словарный запас. У папиных родителей, говорила ты, был большой дом в Киеве. Дедушка, папин папа, был киевский почетный гражданин. Власть имел огромную и сам человек был очень властный. В Харькове и Одессе они тоже имели прекрасные дома. Но, сыночка, сказала ты, богатство – не добродетель, и богачи порой большие злодеи и эгоисты. За два года до моего рождения бедный люд их обобрал. Так им и надо. Революция иногда права, и не все революционеры бандиты.

Кроме русского и французского отец знал итальянский, немецкий и норвежский. Английского языка не выучил из снобизма. Счел, что английский немзыкален и годится разве что для конюшни и лакейской. Отец много ездил по Европе. Во-первых, учился. Во-вторых, бездельничал, потому что работать тогда не было принято в богатых семьях. В-третьих, просто искал счастья за тридевять земель. Тут последовало новое лирическое отступление. Ты объявила, что счастье хорошо искать смолоду. Потом будет поздно. Когда оно приходит, его или не узнают, или боятся. Твоя философия была мне не по уму. Я попросил тебя рассказывать дальше о папе. Отец изучал литературу в Петербурге. Особенно любил он Лермонтова и однажды понял, что он, Ламартин и Мюссе очень похожи. Тогда он сложил вещи и уехал в Париж – учиться в Сорбонне. В тот же год отец побывал в Гейдельберге и Праге. Жил там по-студенчески подпольно и бедно. Кажется, в том же 910-м из Богемии его выслали. Дальше пошло что-то сложное: Берген, Христиания, Лейпциг, Льеж. Ты поняла, что я запутался. Пошла, принесла атлас. Раскрыла – и возмутилась: почти еще новый, а в Европе уже все не то! Объяснила: вот такая страшная война. Измучила материк, как чума. Войны все такие. И у всех один конец: сыновья уходят, матери плачут, и ждут, и иногда не дожидаются. Но мне поклялась, что с войнами и революциями покончено, жить я буду в мирное, счастливое время. Поклялась с подозрительной горячностью. Тычешь пальцем в голубые и зеленые пятна, в сплошные линии и пунктиры и вздыхаешь, что нет уж тех дивных стран, по которым проехал отец для дела и для безделья. В 910-м тут, посерединке, была большая двойная империя. Правил там император, очень обаятельный человек, правда, грустный, старый, лысый и в парике, но умный и добрый. Звали его Франц-Иосиф. При дворе у него было много артистов и музыкантов, блестящих офицеров и красивых дам. Каждый день балы. Республики в ту пору были захудалые, одна Франция ничего. Остальные, не-республики, прекрасные, все очень культурно. Правда, иногда немножко солдафонно, как у Вильгельма, немецкого правителя с усами торчком, а иногда изящно и деликатно, как у душечки Эдуарда VII, властителя и Британии, и Индии. Ты полистала атлас, показала мне Азию.

И тут вдруг отцовская Европа померкла. Засияли острова с увлекательно диковинными очертаниями. Я спросил, поедем ли мы на Борнео, ты только улыбнулась. Потом заявил, что не буду больше есть, если не свезешь меня в Тасманию. Ты сделала строгое лицо и цыкнула: такой большой, а говорю глупости. Я смерил расстояния и пошел на компромисс: мол, ладно, согласен на Белуджистан. Ты ущипнула меня за щеку, и вернулись мы на отцовы пути-дороги в Тоскану, Баден, Прибалтику. Иногда, сказала ты, поездка носила дипломатический характер, потому что отец был большим дипломатом. Дедушка, отец отца, поручал ему подписывать контракты с промышленниками и даже министрами. И ездил наш папа в Варшаву – Польша

принадлежала России; и в Ковно – Литвы тогда вообще не было; и в Аграм – так назывался Загреб; и в Пресбург – чехи-патриоты переделали его в Братиславу. . . Ах, Европа, бедняжка, какая славная была, богатая, приятная! И, Боже ж мой, как испоганили ее эти Жоффры, и Чичерины, и Клемансо, и Масарики, и Ленины, и Ллойд Джорджи, и Вильсоны! А я сержусь. Незнакомые имена, не знаю, что ответить. Но могу заплатить той же монетой. Собираю фотки киноактеров и знаю тех, кого ты не знаешь: Конрада Найджела, Полу Негри, Эмиля Яннингса, Эдну Первенс и Макса Линдера. Квиты. Ты тоже не всезнайка. В одном выиграла, в другом проиграла. А отец, продолжала ты, писал стихи – так, стишки, под настроение. В 910-м он стал читать их на вечерах в Киеве и Одессе. Ему хлопали, говорили приятное, но он не очень-то верил – светская болтовня, и только. Он познакомился с молодыми писателями, которые рассказали ему про авангард. И тут он отнесся к жизни всерьез. На миг ты вспомнила про себя. Рассказала, как любила гимназию и музыку и как любили тебя родители. Твой папа был человек немногословный и очень порядочный, а мама – с большим сердцем и всегда отличала искреннее чувство от фальши. В рассказ ты вложила мораль. Сердце – главный советчик, важней ума и амбиций. Счастье важнее власти. Чтобы так я и знал. В мои пять лет выбирать еще рано, но знать об этом пора.

Ты увидела, что я, раскрыв рот, гляжу в атлас. Отец, сказала ты, тоже любит географию, но не просто так. Он покупает и продает марки, хотя вынужден служить в банке. Прошное, конечно, хорошая вещь, если не в ущерб настоящему. Хотя настоящее – не такое уж хорошее, скорее немножко плохое. Золотое время далеко позади. Революция выгнала нас из России, но скоро мы вернемся. Правда, теперь у нас ни гроша, все потеряно. Дедушка с бабушкой в Бельгии. Жить нам трудно. Отец начал собирать марки давно, еще до 910-го года. Теперь он знаток. А еще он собирал редкие рукописи, старые трубки, коллекционировал бабочек и – тут глаза твои затуманились – красивых женщин. Но я ерзал на своей подушке, смотрел непонимающе, и ты махнула рукой, как бы спохватившись, – и опять рассказывать. В ссылке отец отнес марки филателистам на продажу, те продали их за небольшой процент. Потом отец сам занялся перепродажей. Связей, благодаря его переписке, было у него много, так что дело пошло. Есть теперь жилье, хотя почти не осталось коллекции. Остатки – безделушки, каталоги, письма – спрятаны в шестиметровом пространстве. Но отцовы марки я видел, хотя отец, когда занимался ими, меня прогонял.

Закончила урок ты по плану. Но неожиданно, на втором дыхании, сделала заключение. Марки – это бумажки. Ими оплачивают письма, открытки и посылки. Обычные и заказные. Заказные спешно привозит почтальон. Он примчится верхом или на велосипеде, как только получит почту с парохода или поезда. На марках всегда картинка. Чаще всего – король страны этой самой марки. А иногда – гербы, или города, или знаменитые в этой стране люди. Цвет марки зависит от стоимости. Стоимость – это цифра в уголке, она дана в денежных единицах страны в соответствии с действующими тарифами года выпуска. Если на обороте клей, значит, марка новая, куплена на почте и не использована. А если использована – то погашена, на ней лиловый или черный штамп, и она уже не такая красивая. Но гашеная не дешевле негашеной, а то и дороже. Я устал и опять заерзал. Ты велела повторить сказанное – на том мы и закончили. Продолжили на другой день. Обещала мне самокат, если буду внимательным. А недели через две, сказала ты, я стану настоящим филатelistом. Вот отцу-то будет сюрприз! Главное – обращаться с маркой осторожно-осторожно. Пальчиком к краешку альбома придвинешь и подхватишь, очень легонько, чтоб не промять серединку и не погнуть зубчик. Или, еще лучше, возьмешь металлическим пинцетиком, тогда точно не испортишь. Двадцать-тридцать попыток – и дело в шляпе. Я на седьмом небе! Скоро отца обставлю!

Я научился измерять зубцы, распознавать водяные знаки и отмачивать марки в черной

плошечке, капнув в воду каплю бензина. Позже отмачивание стало моей страстью. Вырежу марки с конверта, приготовлю теплую ванночку, опущу, отмочу, выну, положу на промокашку обратной стороной кверху и высушу. Мой словарный запас обогатился чрезвычайно. Я уже не назову марку коричневой. Скажу: бистр, сепия, охра. О синей скажу: ультрамарин, кобальт. Даже «красной» постыжусь. Красная – это краплак, пурпур, киноварь. Каждую картинку долго наблюдаю в лупу. Устанавливаю страну. Написано не всегда по-русски или французски. Пришлось, чтобы не путаться, заучить слова. Швеция – Свериге. Финляндия – Суоми. Швейцария любит самоназывать по-ученому – Гельвеция. Франция, хвастаясь политическим строем, хочет, чтоб узнавали ее с ходу по буквам Р и Ф. И это еще скромно. Британия, владычица морей, та вообще не объявляет себя ни словом, ни буквой, и так, мол, ясно. Дальше еще интересней. Явились марки – картинки прекрасные, но стран их на карте нет. Нет, например, Карелии, Эпира, Восточной Румелии, Юлианской Венеции. Я продолжал изучение марок. Забрался далеко, в Полинезию. Просмотрел острова, и большие, и маленькие – не больше наверняка их собственной марки, потому что без лупы их и не увидишь. Вот Элобей, Орта, Науру, Невис, Пенрин.

В две недели, спасибо маркам, я очень продвинулся. Обнаружил, что королева Виктория – красавица, и расстроился, что она постарела. Сравнил изображения Георга V и Николая II и понял, что они родственники. Но неужели великие люди – все такие суровые, как киноварный Пастер? Во всяком случае, судя по профилям Франца-Иосифа на боснийско-герцеговинских и Фердинанда на болгарских марках, – заключил я, возможно, сгоряча – короли и императоры в старости жирные и лысые. И расстроился еще больше. Зато на марке с острова Ниас я впервые увидел зебру. Она стояла настороже, на фоне изящных пальм. А на марке с Танганьики встретил милого друга, жирафа. Я был потрясен. И перестал обедать. Спасая мою жизнь, ты умолила отца подарить мне всю серию, то есть Танганьику №№ 1 – 14 по каталогу Ивера-Телье. Ивер-Телье стал моей библией. Марки я называл его номерами. Иных марок, особенно дорогих и редких, у отца не было. Я воображал их существами грозными и гордыми. Боготворил черную Баварию № 1, уважал № 2, темно-зеленую Францию с Церерой и лаврами, обожал базельскую, трехцветную, с рельефным оттиском. Долгое время почитал я героем и благодетелем человечества капитана дальнего плавания, командира крейсера «Винета». На своей «Винете» капитан был царь и бог. Однажды, вдали от родного германского причала, он увидел, что на исходе трехпфенниговые марки. И тогда взял он шестьсот пятипфенниговых и порвал их вдоль пополам! Будущие сокровища с лиловой надпечаткой «3»! Сей беспримерный героический подвиг совершил капитан 13 апреля 1901 года в море близ Рио-де-ла-Плата. «Раздвоенные» марки были для меня славней, чем эти твои хваленые геройства: африканская кампания Наполеона и переход Ганнибала через Альпы в снежный буран на слонах. Спорить с неофитом ты не стала.

## Брюссель, май 1940

Доктор Исфординг двенадцать лет был лучшим отцовым клиентом. Собирал он балканистику и покупал с чисто немецкой методичностью все, что предлагал отец: опечатки, разновидности, раритеты в хорошем состоянии. Иногда он самолично приезжал к нам и привозил тебе подарочки: у него в Ганновере производили прочнейшие ридикюли и добротнейшие материи. Ты называла его «прусской свиньей», но скрепя сердце, ради отца, ему улыбалась. Говорила, что отец делает ему огромные скидки, а этот дарит грошовую дрянь. Жулик, как все немцы! Да еще, ругалась ты, любит Гитлера с его шайкой. Может, даже тайком вступил в партию. На этот раз отец велел особенно ему улыбаться. 40-й год начался плохо, сплошные проверки и запреты на пересылку. Значит, с хорошими клиентами, будь добра, обращайся как можно любезней. Ты обещала. Даже позвонила мне в мое студенческое жилье и вызвала на послезавтра ужинать. Потому что на мои десять лет доктор Исфординг подарил мне золотую монету в двадцать марок. Или я забыл? Или я не помню? А я вообще не считал его «прусской свиньей» и с удовольствием пошел на семейный ужин, чтобы, согласно твоим пожеланиям, явить варвару культурное семейство. Обмен любезностями – и отец увел доктора побеседовать, то есть предложить ему несколько филателистических диковинок. Стоили они баснословных денег. Герр Исфординг согласился охотно, судя по сигарному дымку под конец беседы. Ужин прошел скучно и малость натянуто. Я снеосторожничал, нарочно. Спросил у гостя, когда наконец немцы поведут против Франции и Англии настоящую войну, а не «странную», недостойную ихнего тысячелетнего рейха.

Поначалу Исфординг отмалчивался. Но за кофе, закурив вторую сигару, разразился длиннейшей речью. Сперва извинился: лично он не нацист и в семье его все – люди свободомыслящие, что доказали еще в 1848 году. Но за Гитлером свободомыслящие промышленники-угольщики все же пошли. Пришлось вступить в партию и ему, Исфордингу. Но это только для виду. На самом деле от партии он не зависит. Наоборот, не они, промышленные магнаты, в ответе перед ней, а она перед ними. Победить Германия победит. Даже если Россия станет воевать против. А после победы патриоты скинут нацистов. И установят демократию, такую же, как в Англии и Франции. Впрочем, не о политике он хотел говорить, а вот о чем. . . Герр Исфординг глянул довольно печально и вдруг спросил, не евреи ли мы. Ты взволновалась. Отец заметил твое волнение и говорить тебе не дал. Он налил гостю коньяку и невозмутимо ответил, что, увы, арийцы мы не чистокровные: у него еврейка мать, у тебя – еврей отец. Вообще свою расовую принадлежность мы не обсуждали, но обсуждения эти были в духе времени, так что поговорить мы могли. Отец был спокоен. Пожалуй, даже слишком. Но заговори вместо отца ты – было бы еще хуже: раскричалась бы, нагрубилась. И потеряли бы мы клиента. Впрочем, нечем хвастаться и мне. Я вдруг подумал, что ужасно устарел. Ворчун я без идеи, без веры. А эпоха моя, середина века, верит, верит в состав крови и форму черепа!

И скрыть их я, оказывается, не вправе. А что до мозгов, то их, если что, быстро прочистят. И надо делать выбор. А не хочешь, заставят выбрать. И не между жизнью и жизнью. А между смертью и... смертью: надену форму, пойду на войну и погибну или же откажусь воевать, стану предателем и погибну без никакой войны... .

Исфординг сказал прямо: когда они войдут в Бельгию, нас арестуют. Ты даже подскочила. Да как же это возможно? Так вот – прийти, увидеть, победить? Ведь Бельгия – страна нейтральная! Исфординг усмехнулся и просил ничего никому не говорить. У него свой человек в вермахте. Польшу взяли шутя. Как только распогодится, пойдут на Европу. Сперва ударят по Скандинавии. Еще дней двадцать пять-тридцать – рванут по Бельгии, Голландии и повернут на Мажино. Вот так. Он нас предупредил. У нас есть время уехать – в Штаты, Африку, Австралию или еще куда. Губы у тебя задрожали. Ты изо всех сил сдерживалась, чтобы не зарыдать. Отец молча и грустно смотрел на гостя, видимо, рассуждал философски. Хуже первой ссылки вторая не будет. Так, казалось мне, он думает. Видимо, хочет не хочет, подсчитывает, сколько времени у него на все про все. Что до меня, то я ударился в мечты. Нарисовал себе картины, смутные и безумные. Англия и Франция разбиты наголову. Рейх победил. Германия скидывает нацистов. Европа наконец едина. Злобно ухмыльнувшись, представил: не жду я нападения, срываю с себя бельгийский мундир и ухожу к немцам воевать во имя Европы сильной и процветающей! Герр Исфординг спустил меня с небес на землю. Порывшись в портфеле, он извлек зеленый матерчатый мешочек, достал оттуда шоколад, а из-под него – еще мешочек. В нем оказались золотые монеты, всего двадцать штук: марки, дукаты и луидоры. Исфординг просил отца быть другом, принять дар. Нам это не помешает. К тому же, добавил он, немецкие граждане не имеют права хранить драгметаллы. А он не хочет идти против родины, но и одаривать ее не намерен. Ты упрямо закачала головой. Мол, не надо нам от извергов подачек! Отец продолжал молчать. А гость заговорил, по-прежнему убедительно. Нет, он не дарит, он дает на сохранение. А после войны мы вернем, если захотим. Наступило напряженное молчание. Тут отцу пришла счастливая мысль: не открыть ли шампанское? Улыбаясь как можно приятнее, мы выпили за дружбу.

Исфординг ушел. И отец вдруг заговорил как никогда серьезно. Просил меня оставить университетское жилье и переехать к ним. Учебу я могу продолжать. Все еще вилами на воде писано. Но ему нужна моя помощь, три-четыре часа в день. К тебе тоже просьба: поменьше прогулок и болтовни в гостях. Возьмемся за руки. Будем действовать. Он все продумал до последней, мелочи. Но ты заартачилась, словно надеялась, что все обойдется. Даже заявила, что Исфординг врет. Ишь, сказала, нашелся посланник Божий. Не Божий он, а чертов. Отцу сравнение не понравилось. В делах Исфординг человек порядочный – значит, и вообще порядочный. На сей раз отец стоял на своем. Ко мне это также относилось. Не важно, что я совершеннолетний. Я обязан подчиниться. Иначе он лишит меня средств. А план действий у него прост, дел-то на месяц или чуть больше. Перевести сбережения, весьма скромные, в Лондон и продать бельгийские облигации – скоро им грош цена будет. Все его обычные марки тоже немного стоят, возиться с ними себе дороже, начнется война – пусть пропадают. В такое время спасти хоть половину имущества – и то хлеб. Отцов аскетизм тебя потряс. Ты ломала пальцы и по временам всхлипывала. Мы с отцом тебя осудили. Возьми себя в руки, сказали мы, мужайся, самое трудное впереди. А ты: раз так, будешь ездить, чтобы отвлечься, каждый день трамваем на кладбище – на могилу к бабушке. А я, резко: оставь мертвецов мертвецам и займись живыми и кончай с этим глупым хныканьем. В конце концов ты сдалась – хоть и сомневалась в правильности действий, но очень хотела быть на высоте. Ты больше не принадлежишь себе! Жизнь так жестока, внезапна, капризна, несправедлива! Она слишком много требует от тебя! Боже, час от часу не легче! И ты пришла в отчаяние. Несколько раз

со зловещим спокойствием мне повторила, что хочешь лежать вместо бабушки в сырой земле. Наконец-то был бы покой! Утешений у меня не нашлось, ты вела себя недостойно. И я только повторил отцовы слова: не раскисать, взять себя в руки, мужаться.

Отец вынул из альбомов все ценные марки. Мы с тобой должны разложить их в кучки по странам и годам выпуска. Отец напоследок просмотрит, скажет, что делать дальше. Дальше – помещаем марки в прозрачные пакетики. На пакетиках пишем номера марок, под какими они в Ивере-Телье. Обработать нам надо четыре тысячи номеров. Работа кропотливая, недолго и ошибиться. Отец тем временем составил список лучших клиентов и приготовил по списку посылочки, сто – и двухсотграммовые почтовые отправления. Разошлет клиентам на сохранение, кому куда. Объяснил нам, что так поступил бы любой из них. Доверие – основа торговли. Результаты пересылки тоже отцом просчитаны. Каждый десятый конверт будет потерян, еще десятый конфискован, каждый третий попадет не по адресу. Отдельным письмом отец слал всем извинения, впрочем не перебарщивая. Дескать, позволил себе, без спроса, послать им на хранение некоторое количество марок ввиду возможной войны, именно – войны, а не перестрелки, как в Эльзасе. Отец разослал таким образом от шестидесяти до восьмидесяти конвертов знакомым в Лиссабон, Лондон, Нью-Йорк и Буэнос-Айрес. Послал письмецо даже младшему брату, жившему с 1930 года в Рио-де-Жанейро. Прервала этот почтовый роман только оккупация Норвегии. Стало быть, не зря мы доверились Исфордингу. Эта мысль ободрила нас и вдохновила на дальнейший труд.

В подобной работе требуется энтузиазм. И вы с отцом свято верили, что свет сошелся клином на зубчатых бумажонках. Спасти их – спасти нас троих. Потерять – погубить, погибнуть в бегстве по Европе, в огне и крови. Я тоже перестал надеяться на чудо и тоже уверовал в марочную возню. Послевоенное будущее представлялось мне более-менее радужно. Но как отнестись к настоящему, я не знал. Бороться за демократию – фу, пошлость какая! Ведь это значит стараться для Даладье, Спаака, Чемберлена, канцлера Шушнига и Бенеша. А имею ли я право, из романтизма или просто всем назло, пойти за Гитлером или Муссолини, Сталиным, Франко? Хочу блицкрига! Массовой резни! Мерзкое, конечно, желание. Но пусть Париж падет за неделю, Лондон за две, Москва сгорит, как при Наполеоне, Берлин взлетит в воздух дом за домом. Я бредил и мечтал о победителе: он не политик, он генерал, он разрушит пол-Европы, а другую половину подчинит себе. Немцы начали, вот пусть и закончат прекрасное дело объединения. Об этом объединении я только и думал. Повторял одно и то же: то, что не удалось Фридриху II и Карлу Великому, удастся Гитлеру; люди меняются; был Бонапарт – стал Наполеон. Даже говорил, сам себе не веря, что Гитлер лет в шестьдесят, насытись победами, угомонится и будет нормальным немцем, честным и благородным, как Гете и Бах. Все это, конечно, было сущей дурью. Правда, я и позже был неспособен смотреть на все трезво. Дурак-дурак, а себе, впрочем, на уме: учиться очень скоро расхотелось и война теперь все позволяла и ни к чему не обязывала Порой, в минуты озарения, представлял я, как вежливые чопорные генералы снимают рейхсканцлера, передают власть гражданским, устраивают свободные выборы. И возникнет в Европе государство, о каком никто и помыслить не мог: не десятивековая Священная Римская империя, а нечто афинское, но в свете идеалов современного гуманизма! И ради такого дела можно, пожалуй, и убить миллионов пятнадцать-двадцать.

Ну а ты ни о чем таком не грезила. Жизнь безумна, что ни день, то новое потрясение, а ты делаешь свое дело: тихо-спокойно помогаешь мужу обеспечить выживание. Молча и упорно и почти без жалоб. Разве что вздохнешь, послушав радио. Мол, в Нарвике чуть было не удалось... А толстяк Черчилль все-таки поосновательней Чемберлена. Этот – тьфу, просто сушеная селедка. К середине апреля все марки были разосланы. Осталось три кляссерчика,

самых старых и ценных. Увезем каждый по одному – к счастью, ничего не весят. И так, будь что будет, мы готовы. И тут ты дала себе волю – стала плакаться на судьбу, обожать свои кресла, диваны, шкафы, ковры, деревья и облака в окне. Сидела, ждала у моря погоды и от нечего делать вздыхала и жалела обо всем. Потом вздохи и слезы кончились, начались проклятия. Ты всегда эту Бельгию терпеть не могла. Дождливая, серая, некрасивая. Люди или индюки, или грубияны. И одеваются так же безобразно, то куце, то крикливо, и говорят базарно и вечно неграмотно. Словом, выдала всю гамму чувств от любви до ненависти, точно перемерила в магазине все платья, но так ни одно и не купила. Я, по правде, тоже сходил с ума – вот уж точно, яблоко от яблони недалеко падает. В общем, довериться лучше не себе, а событиям. Все решится и решит за меня. Я боюсь, беспокоюсь, но плевать мне на все.

Первый налет и зенитные залпы разбудили нас в 5.28 утра 10 мая 1940 года, когда деревья расцветали и небо голубело. Я включил радиоприемник. Минут десять – ни гугу. И вот: объявлено немецкое вторжение. Я обрадовался до безумия. Как я ждал этого дня! Наконец-то! Он настал, он решит мое будущее! В сине-зеленом халате ты приготовила кофе и тартинки с вареньем. Не проронила ни слова. Мы с отцом не спеша побрились и в 6.15 вышли пройтись минут двадцать поутру, впервые в жизни. Шли молча, просто смотрели на дома, трамвайные рельсы, деревья, трубы над крышами. Ясно было: нам предстоит много всего, и ошибок тоже. Наша ходьба становилась символичной. Мы были готовы идти навстречу опасностям, и друг другу без слов и клятв равно спутники и помощники. Когда мы вернулись, ты внесла в гостиную пять или шесть чемоданов. К чему такая уж спешка? По радио сообщили, что взят Вервье и частично окружен Льеж. Я вытащил свою форму, осмотрел, посмеялся: неужели стану ряженым? Ты сновала из угла в угол и, видимо, прикидывала про себя. Посуду бросить. Серебро бросить. Вечерние платья и шубы бросить. Примерялась к чемоданам. Десять кило поднимешь или нет? Отец был спокоен. Сказал: даже если они пойдут стремительно и возьмут Альберт-канал, дней пять-шесть у нас еще есть. А я прилип к радио. Наконец в 10.30 резервистам объявили, чтоб оставались по домам и ожидали скорых распоряжений.

Для бодрости я облачился в форму и тоже прикинул свои жалкие авуары. Да пропади все пропадом! Одежда, безделушки, репродукции Моне на стенах. Жаль лишь красивого лимонного галстучка из плотного шелка и тройки книг: Сюпервьеля, Элюара и Бретона. И еще очень жаль «Мыса Доброй Надежды» Кокто. Я позвонил Леклерку и Лифшицу. Мы решили встретиться в 12.00 в кафе на шоссе Ватерлоо близ Камбрского леса. Леклерк пришел в форме, как и я. У Лифшица вид был измученный и растерянный. Мы не виделись больше года, дороги наши разошлись. Леклерк подался то ли в политику, то ли во власть, Лифшиц учился на медицинском. Пойдем ли друг друга, как прежде? Если мы единомышленники, отлично, втроем решиться легче. Но десяток слов – и стало ясно, что Лифшиц рвется в бой против варваров, а Леклерк осторожничает. Сперва, дескать, посмотрим, каковы намерения нашего Леопольда, французского правительства и английского командования. Фрицы в Бельгии, может, и вообще не задержатся. Он-то, разумеется, воевать пойдет, но, если будем отступать, на штыки по возможности не полезет. И так, мы не единомышленники. Но я скорее – партии Леклерка, хотя и не так спокоен. И не такой приспособленец. Выходит, разошлись, как в море корабли. И напрасно сошлись, что правда, то правда. Поболтали об учебе. Где-то к востоку снова налет. А мы похвалились друг дружке амурными победами: мол, на авеню Фосни, у вокзала, в одном дрянном ресторанчике, девчонка продает сигареты, у нее там комнатка, и она... И как-то само собой, никаких высоких слов. Мы – бельгийцы, наш номер восемь, история нас после спросит. Есть у нас союзники – мы с ними. А нет – наше дело сторона. И тогда мы с тем, кто – сильнейший. То есть кто первый пройдет через нас, более-менее без кровопролития. Гордиться нечем. Так что прелести девиц – что шлюх, что барышень –

оказались для нас важней родины. Жертвовать собой – чего ради? И Лифшиц первый это признал, хоть и жаждал вражеской крови. В лучшем случае выполним долг: встанем в строй, если призовут.

Вернувшись, я застал у нас деда. Он сидел в оцепенении. Ты собрала ему чемодан с полотенцем, мылом, зубной щеткой, расческой и сменным бельем. Вторая половина дня – официальное верещание. Нацистская Германия поступила с Европой, как с Австрией и Чехией! Но ничего! Она у нас допрыгается! Она попрала все права и законы! Очевидно одно: Бельгия призывает Англию и Францию встать вместе с ней на защиту Европы от гнусных гуннов! Сбор резервистов, моей части также, – у Остенде или же Ла-Панны на взморье, в трех километрах от французской границы. Рассчитали, заключил я, десять часов боя – и сдача. Ладно, что делать? Проститься с родными сейчас или, как дозволялось, дожидаться утра? Решил: сейчас. Сбегу поскорей, не желаю я этих горючих слез и торжественных слов. Но ты стала умолять остаться еще на ночь, дед тоже. Отец сказал – делай как знаешь. Мысленно он со мной уже простился. Вечером мы держались уныло и натянуто. Слушали новости из Лондона. Немцы совершили прорыв между Льежем и Антверпеном и сбросили парашютный десант над Утрехтом и Амстердамом. Ты ушла и вернулась через полчаса с банкой икры. Расставаться так мучительно, устроим себе праздник на память. Ты развеселилась. Стала тешить нас баснями: союзники нас спасут, нашествие немчуры – чепуха, наверняка где-нибудь в Швейцарии уже идут мирные переговоры. Потом стала ободрять: да, расстанемся, но душой мы будем вместе. Я молчал. Что я мог сказать? Те же пошлости. Отец, спохватившись, достал из шкафа две бутылки шампанского. Забыл охладить. Накололи льда, распили. Ты едва пригубила и несколько театрально отставила бокал. Сейчас решительно не до тостов. Дедушка спросил: не вернуться ли нам в Россию, Сталин теперь с Гитлером заодно, может, там войны не будет? Но сразу умолк, как только ты глянула на него. Глянула с ужасом, точно говоря: Россия – это ад! Было еще две бутылки. Я открыл их и, кажется, сам почти всё и выпил. Ваша серьезность показалась сразу очень смешной. Стало ужасно весело, от хохота я еле сдерживался. Но с новобранца взятки гладки. Мои насмешки вы слушали молча. К трем ночи я протрезвел, но не раскаялся, а, наоборот, был очень собой доволен.

На другой день 11 мая 1940 года в 9.30 утра мы покинули Брюссель. Как ни странно, поезд на Ла-Панну переполнен не был. Выходит, брюссельцы бегут на юг? Мы молчали. Ты потрясение глянула на трех молодых дам – те уступили мне место: может, я с фронта или на фронт и буду убит за отечество! На меня посматривали. А вокруг шепот, беспокойство, легкая паника. Якобы немецкие парашютисты уже в Брюгге, Турне, Кале, Лилле... В курортном местечке гостиница была битком. Вы сняли на две недели квартиру. Как только устроились, я поспешил к местным властям. В шестистах метрах от конторы, в палатках, – военные, они направят меня в часть. С ней отбуду в Дюнкерк. Я хотел сразу же – в часть, и с концами. Боялся твоих рыданий и жалоб, лучше оборвать сразу. Остановила лишь мысль об отце. Я должен пожать ему руку, взглянуть твердо, промолчать, но молчанием дать понять многое. Новости, так сказать, мирские меня уже не касались. Немцы идут. Все равно, на Кампин или Брабант. И британские танки, появившись они с другого конца, – как мертвому припарки. А мне нет дела ни до чего. Знать ничего не желаю. Чему быть, тому не миновать. Несколько часов – и я солдат и послушен офицеру. Дезертиром не буду, а на большее геройство не способен. Жилье ваше было рядом с пляжем – простая меблировка. Ты умолила пробыть с вами еще ночь. Народу с каждым часом все больше, и все с востока.

Немцы заняли Голландию. На рассвете в Ла-Панне уже несколько десятков тысяч беженцев. Новость вызвала массовую истерику. А я наконец ухожу, хватит отсрочек. Вы – ты, отец, дед – медленно оделись проводить. Говорю отцу, с тайным облегчением, что «СБОИ» марки



взять не могу. Он благодарен, что, вот, не забыл о его делах, предупредил. Может, говорит, возьмишь денег? Я молчу: чепуха это все. Он сует мне что-то в карман. Вокруг детишки хрупают вафли. Я без вещей: в чемодане кальсоны, зубная щетка, мыло и носки. Ты смотришь на меня тревожно и мужественно, но я не ценю. Скорей бы дойти. Дедушка что-то бессвязно бормочет, слава Богу, что отвечать ему не нужно. Прохожий спросил, как пройти к французской границе. Зачем-то говорю, что – никак, что граница закрыта и за незаконный переход – расстрел. Очень вдруг захотелось поучить всех уму-разуму. Замедляю шаг и предлагаю в последний раз выпить кофе, тут на террасе. Ты согласна: еще десять минут счастья со мной! Мы садимся за столик с видом, будто в душе миллион терзаний и страданий. Отец в решительные минуты всегда чересчур спокоен. Объявляет, что взял себе и тебе билеты на Руан и что автобус через несколько часов. Оттуда или в Париж, или в Тулузу, судя по обстановке. Я даже подскочил: ты что, про деда забыла? А ты: нет, не забыла, но, видишь ли, ехать в Руан – долго, рискованно и деду не под силу. Дед кивает с подозрительной готовностью. Я чувствую: ему больно. А ты снова: в Брюсселе деду лучше, посторожит квартиру и Арман с Матильдой за ним присмотрят. Я не ответил, и ты поняла, что я возмущен. Добавила, что немцы ничего не сделают восьмидесятилетнему старику. Ну разумеется, сын ушел на войну, и на что тебе теперь старый дед? Твой долг один – мужа спасти, остальное – побоку. Как ничтожен, думал я, человек, и как мелки душой мы сами, все четверо. Очень хотелось крикнуть: «Гадина! Бросила родного отца нацистам! Ведь еврейю это верная смерть! Никогда тебе не прощу!» Но не крикнул. По моим злым глазам и сомкнутым челюстям ты и так все поняла. Отец заплатил за кофе. Я обнял вас холодно, механически и ушел не оглядываясь. У меня больше нет семьи. Мне двадцать лет. Век старей меня вдвое. Забуду старую жизнь, начну новую. Или погибну. Шел я налегке. Уносил лишь самого себя да чемодан, а чемодан – пушинка

## Париж, 1977

И опять, слово за слово, обретаю, сударыня матушка, ваш образ. И опять вы то расплывчаты, то искажены в угоду моим, черт знает каким, угрызениям. И вы то верны, то неопределенны, то прекрасны, то ужасны. А я все валю в одну кучу, будто вы есть сумма собственных ахов и охов. И прекрасно, верность образу только мешает. А так – пожалуйста, вот вы и явлены, хотя лежите уже полгода на пригородном кладбище с прочими мертвецами, забытая в цветах под тополями. Тополя колышутся над могилами, как всем известно, в утешение. Хотя с тем же успехом они колышутся где угодно. И потому утешение мне от них невеликое. Зато мое право – воссоздать вас, сударыня, вашу жизнь и прошлое в пределах досягаемости. Слишком долго я подавлял в себе всякие отклонения. Возьму теперь, отведу душу, переделаю, искривлю, извращу вас, маман, в свое удовольствие. Потому что знаю, как сладок запретный плод фантазий. Вот и вкушу его, а захочу еще – еще нафантазирую. Прошу вас, мадам, пожалуйста сюда, в темные извилистые коридорчики воображения, идемте. Ничего не потеряете, только выиграете. Станете со мной безумной и бездумной. И хватит покоряться, осторожничать, рассуждать. Итак, вот и вы. Ненастоящая, конечно, потому что – моя и ничья больше. Моя до мозга костей и до последнего словечка. Вы – молоды. Цыц, молчать, я так решил, написал, настучал на машинке. Лет вам двадцать шесть-двадцать семь. Чуть меньше, чем когда забеременели мной. Вы красивы – старинной красотой, она вам больше к лицу. Росту в вас метр пятьдесят два – пятьдесят три. Волосы до плеч, белокурые, непокорные. Черты лица так выразительны, что кажется: вы гримасничаете. Глаза черны, словно наперекор милому носику, пухлым щечкам, губкам сердечком, подвижному подбородку. Ладно, на лицо, сами знаете, мне наплевать. Главное, сударыня, кожа. Какая она у вас, шелковистая ли, бархатная ли? Помнится, если по правде, пергаментная и бугристая. Так что к черту память! Кожа у вас восхитительная. Должен же я жаждать вас полвека спустя. Значит, так: кожа так хороша, что все мужчины от вас без ума. Грудь тоже великолепна, и пышная, и нежная. Она закрыта, но так, чтоб смотрели, – приманка в духе эпохи! Однако интрижек вам не нужно. Вы мечтаете о любви до гроба. О чем же еще! Я – ваш поклонник, один из многих. Лет мне столько же, сколько отцу. Но я предприимчивей. И на вас, сами знаете, не женюсь. А вы подушились, сударыня. Правильно. Тем более что талии и вообще фигуры не видно. Платье на вас широкое, юбками, конечно, помашешь, но форм не покажешь. Ну и ладно. И так ясно, что сложены вы дай Бог. И ножки – может, тоненькие, может, полненькие, и колени – предмет, может, чистой красоты, а может, похоти.

Мог бы я, сударыня матушка, выпить водки и запить квасом, как гоголевские или лесковские мужики, а потом, как Распутин, прижать вас к стене вашей спальни. Ах, ну да, забыл придумать, как я проник к вам. Пришел к вашему отцу и велел, чтоб доложили. Предлог нашел пошлейший: принес шкуру зверя, убитого у черта на куличках, скажем, в Туркестане.

Вранье, разумеется. Но папаша ваш все не идет. Пока жду, представляю себе вас. В спиртуозных парах возгораюсь. Так бы и насильничал. Я же, сударыня матушка, не ваш любящий сын, а силой фантазии – торговец кожами, постарей вас годами. А вы отбиваетесь: и хочется, и колется. . . Нет, тише, тише, почто спешить, у нас все культурно, у нас как в Европах. Насильничать погодим-с. Сперва другое. В моей сочинительской голове дополна хлама, как в театре. Не по вкусу вам словцо иль актер? Ладно, к чертям Мюссс с Мариво, давайте из Шекспира иль из Лопе де Вега. А время для простоты оставим наше, ага? Стало быть, вы – хорошенькая плутовочка, ждете большой любви и красивой жизни. Покамест с этим неважно. И вы гуляете по Одессе – царевна Несмеяна и озорница. А, нет, вот, придумал! Какие, к черту, Шекспиры. Чехов, Чехов тут нужен! Вы барышня сдержанная, но страстная. Да, но мне-то что с того? Я в данный миг фрейдист и психоаналитик. А у вас все легко и мило. На Преображенке прохаживаются студенты, бледные лермонтовские щеголи. Торгаши с рыбаками еще не стали пролетариями всех стран. Царским офицерам – не на бойню, мировую с гражданской. С вами амурятся, и только. А вам замуж невтерпех. Кто бы влюбился! Девственность прекрасна, как луна: светит, но не греет.

Помочь твоей беде охотники все же есть; некий гусар, мой отец и я сам. Меня назовем незнакомцем, как в любимых ваших По, Мериме и молодом Леониде Андрееве. Лично вы пошли бы с гусаром. Сердцу не прикажешь? Чепуха, вы девица образованная. Красавчик гусар сегодня пылкий любовник, а завтра был таков. Отбудет с полком в Хабаровск или Владивосток по ту сторону Сибири или на север, в Гельсингфорс, в Финляндию-Лапландию. Ну его совсем, рассудительная моя сударыня матушка! Отец мой – другое дело. Папочка – жених завидный; богат, воспитан и, что очень приятно, в душе шут гороховый. Пусть женихается, ухаживает. Со временем вы, конечно, согласитесь. Но до него-то кто? В девицах я вас, родимая, не оставлю. В 1907-м, как и в 1977-м, весталок терпеть не могу. Так что вот вам незнакомец на балу. Танец сами выбирайте – хотите, вальс, хотите, кадрили. Вы уже изрядная музыкантша. Вам, уверен, Чайковского подавай. Пожалуйста, плохонький оркестрик – и пошла писать губерния. Сударыня, позвольте вас пригласить. Минуту вы колеблетесь: я не в вашем вкусе. Но на войне как на войне. Два-три танца вы выдерживаете, наконец идете со мной. А вы, оказывается, вовсе не пушинка, а очень даже пышка, хотя порхаете и дышите, чуть постанывая, не то от волнения, не то от слабости. Задаю дежурные вопросы. Часто ли вы здесь? Всегда ли тут дуры маменьки? Есть ли у вас кавалер? В городе ли живете? С вопросами покончено. Приступаю к комплиментам. Не вашей душе, душа прекрасна – само собой, а вашему телу. Оно, оно влечет меня. Так что комплиментом, как говорится, ближе к телу. Правда, в ответ вы ставите меня на место, мол, девушке из общества такое не говорят, но к телу я все ближе и ближе. . .

Мои руки глядят ваши бедра, задевают грудь, медлят под мышками. Вы отталкиваете и удерживаете, как все кокетки. С ходу брякаю, что языком лучше, чем пальцами. А пальцами лучше рисовать, не так ли? А вы мне: то «господин», то «сударь». Это родному-то чаду? Потому что, по-вашему, вы моложе меня. А по-моему, это не важно. А вам вообще важна всякая видимость, а мне – нет, я, сочинитель, что хочу, то и ворочу. А хочу я вас. И даже в светской беседе, и даже в начале века такое признание не должно оскорбить барышню-недотрогу. Я атакую. Заметили, как взволнован? Заметили и сами, известное дело, взволновались. И прижались ко мне тесней, чем дозволено приличиями. Дело в шляпе, сударыня, как пить дать, в шляпе. Думаю о том с мужской гордостью не без фатовства. Да, дорогая, деваться вам некуда. Я хочу вас и говорю о том вслух, чтобы разгорячиться. Ну а вам – вам горячительного не нужно. Вы мне просто, как говаривали в ваше время, отдадитесь. Так, теперь решим где. В дом к вашему папеньке не прошусь, ни с заднего крыльца, ни ночью. Ни у Пушкина,

ни у Бальзака так не принято. А ежели я и довраля до гнусного обольщения, все же я не змей-искуситель. Все хорошо в меру. Можем встретиться у вашей подружки. Учится с вами в консерватории. У вас, пожалуй, и не одна такая сеть, для алиби. А можем прекрасно совокупиться на лестнице близ порта. А вы скажете, что нельзя у всех на виду и что я бесстыдник. Тогда говорю: едем к морю. Зову извозчика. Знаю, вы любите прокатиться в пролетке. Ну, вот мы и одни. Ближайшее жильё метрах в трехстах, Песок, место довольно чистое.

Мадам маман, не надо, я сам: пуговичка за пуговичкой расстегну, поглажу кожицу, она точь-в-точь, как я думал, только с жирком. Ну, постоните чуток. Вам что, некогда? Не срывать же мне с вас все причиндалы. Ну и что же, что долго расстегивать с непривычки. Тише едешь, дальше будешь, заодно сперва рассмотрю все получше. Итак, начали чин чинарем. Грудь раздел, покрываю поцелуями, и такими, и сякими, всякими. Соски, как водится, напруглись, и я, как тоже водится, молчу. Меньше, как говорится, слов, больше дела. Вы легли на чахлую травку, я полюбовался победно-хладнокровно – ага, вам не терпится – и тоже прилег. Снимаете остальное и даете понять, чтоб и я разделся, а не хочу по-хорошему, разделенете по-плохому до исподнего, и плевать вам на приличия! Мой член красен и напряжен. Он сейчас на уровне вашей груди. Вниз-вверх, на пороге, еще не вошел. Сударыня матушка, тук-тук, кто там, член вашего сыночки, дайте войти. Вы ему и так уж всё дали: жизнь, корм, любовь, терпение, наконец. Но давать так давать. Дайте ж и себя. Ага, пыхтите, ерзаете, вот-вот завоюете от ярости и страсти. Берете мою мошонку в руки нежно-нежно, словно взвешиваете сокровище. Закусили губы. Во рту все пересохло. Я тоже совсем с ума сошел и вдруг отстранился. Как же мы, маменька, про папеньку-то забыли? Он ваш жених, будущий муж, без него никак нельзя. Позовем свидетелем. Сам он рохля, разиня и однажды займется филателией – глупее занятия и не придумаешь. Орудия его труда – пинцет и лупа. А ну-ка, позвольте их тоже сюда! Можно по два, и того и того. Принес, значит, с собой в кармане. Пинцетом выдерну вам волоски меж бедром и лобком: кожа тут мягонькая, они ни к чему. В лупу рассматриваю губки, большие, маленькие, каждую складочку, каждую перепоночку, влагу, слюнки, бездну, топь, устричку, орхидею. Ваш муж – мой отец будет так же изучать свои марки, зубец за зубцом и штришок за штришком. Вы уже не в силах терпеть, умоляете – скорей, давай. А я, между прочим, замка не взламываю. Я законно возвращаюсь к себе домой после долгих странствий. Вы взъерошили мне волосы, поцеловали в губы, жадно прижались языком к языку. Все исчезло. Я возвращаюсь. Вы раздвинули ноги, точно согласны на муку и рады-радехоньки умереть. И вдруг оттолкнули. Какое недоразумение! Я вхожу в вас не тем концом! Вхожу макушкой, как вышел шестьдесят почти лет назад. А теперь, наоборот, рождаюсь обратно. И уже не знаю вас, сударыня матушка, и буду жить с вами, чтобы узнать. И вы согласны, чтобы насильничал я и уснул в вас вечным сном, сладким-сладким.

## Монпелье, ноябрь 1941

Ферма располагалась у подножия холма. Тисы с кипарисами высились прямо над ней, и оттого она, хоть и большая, казалась карликовой и как будто оседала и росла книзу. На огороде всякая зеленушка, лук не то салат, над ними капуста и тыквы. Виноградные кусты стояли криво, молодые побеги краснели, старые медленно загибались и кривились черно и зло, как обугленные спички. Я замер на миг у тяжелой двери. За полтора года я переменялся и тебя тоже представлял другой, седенькой, слабенькой, может, даже сгорбленной. Сперва всегда бывает неловкость: ищешь слова, а они и сам голос все равно фальшивы и не выражают ничегошеньки. Зачем приехал? Мы отвыкли друг от друга. Может, теперь и лучше на расстоянии? Я вдруг почувствовал, что устал и ни на что не способен. Осмотрелся: ложбина, водокачка на ближней пустоши, деревья вокруг фермы. Быть или не быть? Не быть. Я вернулся к калитке, вышел на дорогу, прошел сотню метров. Издали дом, курятник, замшелая зеленая крыша видны лучше. Попытался представить, каково вам тут, двум горожанам в деревне, с ее красотами, и трудами, и скукой, и мукой ожидания. Повидать вас – счастье. Но на что мне оно? Да ни на что: того и гляди, угодишь в ловушку слезливых сентиментов. Мало мне своих забот? Теперь вот вы с вашими. . . Боже, как я искал вас в сентябре 40-го! А нашел теперь, когда искать перестал.

Дверь открыл отец. Он потолстел и немного обрюзг. Смотрит весело, но вполне спокойно. Ты прибежала, бросилась мне на шею. Мы никак не могли решить, что лучше – просто смотреть друг на друга, наслаждаясь встречей, или рассказывать с места в карьер. Вопреки привычке немедленно усадить и накормить, ты повела наверх показать мне мои покои; две просторные комнаты в деревенском вкусе. Стены свежесмыты, толстые рамы в окнах, одно окно на север и прихотливо-волнистые холмы, другое – на восток, деревню Монферье и колокольню деревенского собора. Грубый комод, большой стол, раковина – хоть белье стирай, широченная кровать. Я хмыкнул. В таких апартаментах, говорю, я не то что с легким вещмешком, а и с лошадью преспокойно разместился бы! Ты даже не улыбнулась. Отец засмеялся и повел осматривать дальше. На первом этаже не так просторно, но та же деревенская роскошь. Не ужасен один лишь очаг с дровишками. Все же я похвалил, правда, явно перебрал. Кухня была поместительной – в такой даже роту виноградарей накормишь. Отец повел похвастаться погребом: там помещалось топлива хоть на три зимы. Ветер ледяной, и топить углем в этом году, как и в прошлом, власти не запрещали, хотя и не разрешали. Личные отцовы владения – огород и курятник. Смотри, какие тыквы. А видел бы ты огурцы прошлым летом! Кур не любит, но резать не режет. Режет их местная баба, которая приходит помочь обратиться и сходить за провизией. За провизией – целое дело: пешком в План-де-Карт-Сеньор, оттуда на трамвае до Монпелье, в Монпелье полчаса в очереди, иной раз и впустую, карточки карточками, а продукты продуктами. . . Отец говорил отрывисто. Он стал на удивление похож

на южанина. Даже, оказывается, носит беретку: ни дать ни взять, абориген. Напомнил мне, что его отец, мой дед Иоахим, в 1928 году, незадолго до смерти, уехал в Грасс. В самом деле, на юге Франции прожить легче, тем более когда везде суший ад. Впрочем, и жаловаться грех: подножный корм есть. Кроме кур, еще два белых кролика. Одного отец осторожно поднял за уши. Вот, звать Рильке, в честь любимого отцова поэта. А то все слишком всерьез, пояснил отец, пусть хоть что-то будет в шутку. Не знаю, кого он ободрял – меня или себя.

А ты молчала, и это меня беспокоило. Мы с отцом пошучиваем, сдержанно радуясь встрече, а от тебя – ни ответа, ни привета. Я присмотрелся: а ты, оказывается, постарела больше, чем я думал. И глаза по контрасту стали еще подвижней. Так и бегают, словно со страху. Может, чувствуешь, что встреча наша – недолгая? Говоришь односложно, вторишь эхом отцу. А он успокаивает, дескать, все у вас прекрасно. В первый день сыпал анекдотами, будто больше не о чем говорить. Рассказывал о соседях. Люди вокруг милые, простые. А самое главное – не унывают. Вы сначала боялись друг дружку, а потом поладили. Просто вы с матерью дали им понять, что вполне сами по себе. Не нищие попрошайки, но и не барыги, не станете выманывать у них землю за кусок хлеба. Ничего себе не требуете, а платите за жилье прилично, им и половины хватило бы. Но и от них есть польза: продают вам масло и половину мясной туши, когда забьют скотину, – правда, дороже, чем в магазине, зато дешевле, чем на черном рынке. Этот серый рынок сдружил вас. А чем не дружба – посидеть за винцом и тарелочкой жаркого? Потому что, добавил отец, говорить о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне ничем не хуже, чем обсуждать планы Петена и Геббельса.

Я подыгрывал такому настрою, по крайней мере, в первый вечер. А ты кивала головой и ждала, что заговорю наконец и я. Выпили анисовки. Новый предлог похвастаться: мол, живем, не тужим, а еще играем в шары. А я говорю: не умею. А отец: завтра утром в десять, как туман сойдет, пойдем поиграем. Он знает у дороги пару лужаек, как раз для новичков. Участки утопанные, ровные, не слишком большие и не слишком маленькие. Достал из кармана трубку и спросил, не помешает ли дым. Опять, понимаешь, стал покуривать, как в годы странствий сорок лет назад. Кто курит трубку, объяснил отец, у того мир в душе. Так что полдела сделано. Затем перешел на темы страноведческие. Южная Франция почти как Малороссия. То же синее небо, и характерный говор, и народ словоохотливый, любит поговорить на свою голову. И Марсель, если приглядеться, – та же Одесса. Я спросил, что он думает о самом себе и о мире теперь, в конце 41-го, когда рейх покорила Европу и Франция сейчас – слепая раба, слепая, верней, закрывшая глаза на то, что сама творит. Отец ответил, что в иные эпохи весь мир – театр и сам он старается быть сносным актером. И тут же вызвался приготовить ужин. Дома есть яйца, а он спец по омлетам. Омлет вкусный, недожаренный, с гусиным паштетом и луком. В этот вечер ни о чем важном уже не поминали. Словно сговорившись, мы не хотели омрачать радость встречи, искреннюю и в то же время неловкую.

Ты спросила, как здоровье, не переутомляюсь ли? Двигаюсь я, дескать, как-то резко, а это явно невроз и плохое пищеварение. Нельзя питаться абы как. Чем есть всякую дрянь, лучше скушать чернослив или яблочко. Ты сама понимала, что спрашиваешь чушь, и каков вопрос, таков ответ. Сказать друг другу было что. Не было мужества. И ты продолжала болтовню. Не повесила я занавески у тебя в комнате. И покрывало не положила. Не знала, сыночка, какой твой любимый цвет. Теперь, наверно, другой. А ведь есть швейная машинка. Какую прелесть можно сделать! Из старых тряпок при желании сотворишь чудеса. Поругала мои ботинки, даже краем губ усмехнулась. Видимо, сказала себе, что я гол как сокол. Извинилась, мол, нет талонов на кожу, подожди до весны, там справим тебе ботиночки, хотя. . . ох, что ты, что ты, есть у нас человек в префектуре Эро, мсье Маркорель, золото, а не человек, достанет любую обувь. У отца теперь тут блат, познакомился с местными филателистами, они ему за пару

марок все, что хочешь. А как, сыночка, дальше с учебой? Можно поступить в университет в Монпелье, ну, или в Экс-ан-Провансе. Мне бы теперь осесть, определиться. И так полтора года мытарств, и зачем, зачем, спрашивается. . .

Ага, узнаю коней ретивых – знакомые повадки тиранши, захватчицы. Сперва пробные выстрелы, скоро начнешь атаку. Чтобы помешать тебе, сам взял слово, стал расспрашивать вас с отцом о ваших собственных хождениях по мукам. Отцу говорить не хотелось. Забыть, и дело с концом. На первом бегстве, из России, он уже обжегся, теперь дул на второе, устраивал себе сладкую жизнь: приехали на юг отдыхать, любоваться прекрасной природой, дружить с простыми людьми. И не надо ложку дегтя в бочку меда. Он закрывал глаза на многое и многое неприятное и мучительное. Может, подумал я, тому есть и другие причины? Может, у тебя рак или еще что? Хотите скрыть от меня? Я сам скрывал от вас кучу всего, а потому не верил и вам. Наконец ты стала рассказывать о том, что с вами было. До Руана доехали вы спокойно. Сняли комнату в гостинице у собора. Четыре дня спустя, когда вы обедали в пригороде, был налет. Квартал разбомбили. Гостиница оказалась частично разрушена, и кое-что из ваших вещей погибло. С тобой случилась истерика, пришлось даже сделать укол. Ты кричала: хочу в Брюссель, хочу в могилу к ней. Немцы заняли Аррас и подошли к Дюнкерку. Отец решил бежать дальше, но дороги забиты беженцами, а в небе – «мессеры». С грехом пополам набралась группа таких же скитальцев, как и вы: бельгийцев, люксембуржцев, голландцев и англичан. За бензин содрали с вас двадцатеро. По дороге ваши попутчики избавлялись от лишнего – кто от тяжелого чемодана, кто от слабого старика. В Пуатье новый налет. А тебе уже все равно: усталая, измученная бессонницей, не помнишь, кто ты и где ты. Сказать тебе, что ты на Луне, ты бы поверила. С неделю просидели вы более-менее в безопасности в Монтобане. Если б не клопы, совсем хорошо. И тут вдруг у тебя депрессия. Ни ешь, ни пьешь, встаешь, только чтобы сесть в кресло, чувствуешь себя вареной лапшой. Мало-помалу стала нахваливаться немцев. Дескать, зачем бежим от них, поддаемся панике, как стадо баранов. Умоляла отца вернуться, а тебя бросить, отравить – добить из милости. Тут отца осенило: он увез тебя от «стада баранов» в Овернь. В Севеннах вы ходили по деревням, любовались то рекой, то кудрявым дымком над соломенной крышей.

Рассказывая, ты несколько раз прерывалась и выходила из комнаты. Готовила сыночке всякие удобства. Припомнила, должно быть, старые привычки. Рассказ продолжал отец – он над вашими похождениями иронизировал. Бегство, говорил, стало экскурсией во французскую глубинку. В одной хижине вас обокрали. Сбондили рубашку, продукты и медяки из кармана. Еду вам продавали дрянную и кормили не то кониной, не то ослиатиной. Но снявши голову, по волосам не плачут. Надо смеяться, а не слезы лить и мнить о себе Бог весть что. Фаталист по-своему прав: живи сегодняшним, что будет, то и будет. И судьба, таким образом, злилась, а вы веселились. Вы никому ничего не должны, живете в свое удовольствие. Порой прочтете газету, послушаете радио. Но в местечках Гер и Милло, в зелени лесов и лугов, вся политика – кошунство, и вы вполне охотно решили: кто старое помянет, тому глаз вон. Жизнь эта оказалась удобной и выгодной и очень вам по вкусу. Отец не захотел жить в текущей истории. А ты слабая мужняя жена, куда он, туда и ты. Куда именно – дело случая. В августе 40-го подвернулся домишко в окрестностях Монпелье, приглянулся сразу. У вас оставалось немного денег и марок. Отцово дело возобновилось. В нейтральных странах были клиенты, и письма туда и оттуда доходили. Отец дал объявления в газетах, нашлись новые филателисты. Но марочный бизнес ограничили, без лицензии запрещали. Отец пошел к местным чиновникам, те за небольшую мзду согласились посредничать. Почта в Швейцарию шла исправно, в Аргентину и Португалию – более-менее.

Потом заговорила ты, похвалилась уютным житьем-бытьем. О том, что беспокоилась и

даже боялась за отца, напрямую говорить мне не стала. Чего доброго, захочу смотреть трезво, нарушу ваш душевный мир. Сама ты ни во что не вдумывалась, просто поддавалась отцову веселью. Я быстро разгадал эту вашу круговую поруку. Он весел ради твоего спокойствия, ты спокойна ради его веселья. С утра до вечера вы ломали друг перед другом комедию, что ни день, то новое представление. Какую же роль ты отвела мне? К счастью, не малого дитяти: уму-разуму учить не стала, невыполнимых обещаний не брала, сказала только – оставайся сколько хочешь. Я уж не вещь твоя, а просто отвлечение, драгоценная передышка, антракт в пьесе, мнимо благополучной. Жизнь ты пообещала мне прекрасную: ешь до отвала, гуляй, просто наслаждайся природой и забудь все войны-шмойны. И я с интересом заговорил с тобой о здешних делах: послушал о недавнем сборе винограда, узнал о способах консервирования оливок, одобрил рецепты приготовления брюквы и топинамбура, высказал любовь к меньшим братьям – Рильке со товарищи и в результате долгой внутренней борьбы согласился, что земля-кормилица кормит не только тело, но и душу. Большого я предложить тебе не мог.

А что мне рассказать о собственных приключениях? Они до того невероятны, что никакой логике повествования не поддаются. Одно могу сказать и показать беспристрастно: я не герой и не трус, я такой же, как все. В мае 40-го поехал вдогонку за полком – неуловимым. Я за ним, он от меня. Между Дюнкерком и Гравлином еле унес ноги от немцев. В Кале получил приказ явиться на другой день в Сомюр. Драпал с двадцатью бельгийскими солдатами. Одни искали, как я, свои части, другие бежали из окружения после разгрома. Не говорить же тебе такое! Нашел объяснение приличнее. Сказал, что догнал полк в Артуа. Где именно, умолчал. Мы-де по всем правилам представились в часть под Сомюром. Там и узнали об измене Леопольда. Жаждали возмездия, клялись отметить изменнику и вступили в ряды французской армии. . . Я не лгал, я скрашивал и упрощал тогдашние свои идиотские, истерические выходки и решения. А на деле, стало быть, я истерик и заранее пораженец? Нет, все – так, как я говорю, даже если не так. Ну и что ж, что приврал? Просто хочу жить с собой в мире. . . Итак, вошли мы в Гар, в деревню Ушо, там получили срочный приказ. За несколько дней до перемирия в составе 615-го альпийского полка бились с итальянцами у Соспея и моста Шарль-Альбера. Битва была совершенно балаганной, как и вся моя война: мы не подстрелили даже мухи! В последние часы, боясь угодить в плен, я сам себя демобилизовал. Причем сдуру уведомил о том капитана, но он пожелал мне счастливого пути.

Остальное и вовсе не стоит рассказа. И я вконец отдался вымыслу. Вернее, беллетризировал события – куражился, для себя и для тебя. Многого, разумеется, родной матери не сказал. Не сказал, что объявление Петена о перемирии я выслушал по радио в Ницце, в борделе на рю д'Альжер, в обнимку с блондинкой-венгеркой и брюнеткой-креолкой, и что, пока Петен бляял, как в кинокомедиях 27 – 28-х годов, я пил шампанское из красной атласной тувельки за упокой несчастного века и за собственное здоровье. Я не просыхал четверо суток. Хозяйка меня не трогала: поражение, значит, с месяц-два все равно простой, деньги – пустые бумажки, ну и пусть пока храбрецы и молодцы погуляют. Тебе-то я сказал, что сидел в Симьесс в семейном пансиончике с пушистыми соснами, мимозами, синим небом и тишиной. А мне в моем ниццком борделе надо было жить, верней, найти средства жить. Одной из девиц я приглянулся. Звали ее Жаклин Корб – эльзаска, толстоногая, большеголовая крашенная блондинка с кривой улыбкой. Может, грехи замаливала, а может, от нечего делать, как лавочка закрылась, приютила в своих двух комнатках бывшего бойца, значит, славного парня. Я был ей и крышей. Что ж, и прекрасно, пока сам без дела, жду у моря погоды. Жаклин, впрочем, стала порядочной лишь наполовину. Обшивала, обштопывала, помогала по хозяйству лежащим старикам, но получала гроши. Двоим нам не хватало. Пришлось ей ради меня взяться за старое, принимать гостей, дядечек пожилых и скромных. Но я не нахлебник. Все расходы



записывал, собирался вернуть должок, как только устроюсь сам. Было договорено, что вместе мы месяца три-четыре, пока не определюсь при вишистах. Я вполне принял новую мораль. Петен и Фландрен, считал я, умней и способней нас, солдатни. Они как пить дать спасут Европу. А к любви у Жаклин способности. Что ж зарывать талант в землю? И я раз десять на дню повторял, даже с удовольствием, что не ревнив. Рассказывая тебе, я, конечно, кое-что изменил. Тебе я сказал, что Жаклин – эльзасская беженка, встретились мы на дороге в Альпах и я нес ее тяжелый чемодан. У нее ни гроша, родители погибли в бомбежку. Я устроился в гараж, научился чинить машины. Заработка с чаевыми хватило нам на хлеб. Пришла любовь. Но однажды, в середине декабря 40-го, любимой моей выдали пропуск в оккупированную зону, и мы расстались. Это тебе не газетные романы с продолжением. Кончилось все красивыми вздохами и разбитыми сердцами.

А о вас с отцом, говорю, думал постоянно. Каждый день бегал в префектуру и мэрию, читал списки беженцев. Запрос-де написать не мог, потому что в Ницце не имел права ни проживать, ни работать. Но почему-то был уверен, что вы живы и здоровы. Может, наивность, а может, чутье, не знаю. . . Ты бросилась мне в объятия. Я и правда не слишком соврал. Просто понял, что о чувствах тебе интересней всего. Сказать тебе, что безумно тебя люблю, тосковал в разлуке и думал о тебе на поле боя, – ты и рада. Рассиропился так, что и самому стало совестно. . . Нет, сын я плохой. Что ни день, понимал это все больше и сокрушался. И ругал себя, и называл лжецом, и, чтоб скрыть ложь, лгал опять. Словом, совсем зарпортовался. И мысленно посылал тебя к черту и себя вдогонку. Потом на неделю замолчал. Хотел собраться с мыслями, подредактировать старые подробности, придумать новые и согласовать все это вранье, и стыдное, и приятное. Отец понимал с полуслова. Знал, что вояка, юнец вроде меня, иначе не может. Однажды и сам ударился в воспоминания о войне 14-го. На австрийском фронте, в Лемберге, ограбить и изнасиловать было даже делом чести. А позже, в Эстонии, дезертирство считалось подвигом во имя революции и солидарности с народом, захотевшим светлой жизни. Отец смеялся и пыхал трубкой. А ты вдруг затряслась, закричала дурным голосом, мы дотащили тебя до кровати, отец дал таблетку, и ты надолго отключилась. Отец сказал – с тобой такое случается. Врачи уверяют, пройдет. Советуют побольше отдыхать, поменьше волноваться. На другой день тебе стало лучше. Правда, глянула на нас с отцом странно торжественно и попросила никогда больше не говорить о войне. У нас тут мир и покой, пусть даже иллюзорные. «Ну так, – сказала ты, – и лгите ради моего здоровья».

Ради твоего здоровья я занялся помидорами. Увы, они уже сходили и были водянисты. Полюбил виноградное варенье, вы ели его вместо сахара: блат не блат, а сахара не достали. Увлёкся прогулками и очень полезным свежим воздухом. Любезничал с соседями, приходившими ужинать, даже с соседским столяром, хотя послушать его – уши вяли. Столяр говорил, что сосиска похожа на бычий хрен, а у баб мозги в п. . . Ты ему прощала грубости, потому что, объясняла, родной брат у него рыбачит в палавасском порту, а двоюродный продает овощи. Но сама понимала: от этих братьев мне не легче. И вот собралась с духом, попросила наконец рассказывать дальше. Здоровье не здоровье, хочешь знать все. Но верила ты, как я понял, только приятному. Вот и рассказывал соответственно. Итак, хозяин гаража якобы дал мне грузовичок развозить товар в Нарбонну, Тулузу и Монтелимар. Без лишних расспросов я согласился. Мера временная, на войне как на войне. Описал тебе, как шоферил. Труд тяжелый, но честный. Обыски, досмотры, объяснения с полицией, заверения, что сам не спекулирую и не знаю, что вожу, опустил. Просто представился тебе парнем не промах, но не таким уж и ловкачом. Надеюсь, что убедил и успокоил тебя. Выиграл, говорю, время, отсиделся в сторонке, пока монстры сражались. . . Тьфу, забыл: ведь обещался молчать о войне.

Зима 40 – 41-го прошла сносно. Я подумывал найти работу посерьезней. К тому же мота-

ния туда-сюда мешали искать вас с отцом. Однажды вез в Деказвиль бочку вина. По дороге познакомился с бельгийцем, бывшим майором. Понравились друг другу. Он работал в свободной зоне, вел учет и перепись соотечественников. Позвал меня в помощники, я с радостью согласился. Служить делу лучше, чем быть черт-те чьим водилой и грузчиком. Я стал составлять отчеты, распределять пособия, находить бельгийцев и позже самолично репатриировать. В этих поисках пришлось и поездить. И снова жизнь на колесах. Катался в Ним, Лимож, Каркассон, По, Тарб, Мон-де-Марсан. Города – сплошь на границе с Испанией. Но ты ничего не заподозрила. Решила, что спасал соотечественников. Блажен, кто верует. Я не стал говорить, что не спасал, а продавал: находил в Пиренеях проводников и те переправляли бельгийцев в Лиссабон, откуда они ехали в Англию. Риск, разумеется, был, из десяти два случая кончались провалом. Но, опять же, на войне как на войне. Патриотических нюней я не распускал. За соотечественников получал от английской агентуры по шестьсот франков. Каждого сдавал: в надежные руки, и не всегда методом пряника, иногда и кнута. Что ж, хвастаться нечего, но и стыдиться тоже. Уговаривал тех, кто и сам рад был уговориться. А я на службе, значит, мое дело сторона. Пять месяцев я был, так сказать, тайным вербовщиком, трудился практически задарма. Но не на смерть ведь слал. И, послав человек сорок, мог сорок первым послать в Лондон самого себя. В победу Германии я уже не слишком верил, нацистские зверства поколебали мою философию. Впрочем, мечты у меня были те же: объединение Европы, во-первых, и восстановление демократии, во-вторых. А для тебя с отцом я представился исполнительным служакой. Ни о чем сомнительном не сказал, а вы и не спросили.

Наконец в марсельской мэрии я, говорю, нашел вас в списке бельгийцев, поселившихся в свободной зоне. Тут же вам написал и сам примчался. Вам, понятно, найти меня было трудней. Я в разъездах, а в штабе, вернее, в подобии штаба вам навели бы тень на плетень. Я даже имел три ксивы на случай, если донесут вишистской полиции или немцам. Насчет «примчался» я тоже приврал. Не сказал, что знал про вас с полгода. . . Ну, вот и сказке конец. Где надо, приукрасил, где надо, сократил, чтобы выглядеть прилично. . . Далее две недели мы жили душа в душу, я уважал твои занятия, капризы, недомолвки, молчание и восхищался отцом, решительно ставшим настоящим южанином, философом и сибаритом. Изредка думал о будущем, а чаще ел репу с гусиным салом, любовался платанами и корой их, похожей на атлас, страшился злого рока и дальних войн, мерз в первые ночные заморозки и собирался в «мир-театр» продолжать актерствовать в трагедии с миллионной массовой. Однажды поднимаю с пола письмо без штампа. Не послали, а, видимо, просунули под дверь. Послезавтра меня ждут в кафе на бульваре Бельзюнс в Марселе: получу инструкции для поездки в Северную Африку. Итак, снова скитания. Снова риск, трагифарс и глухое подполье. Что это, ловушка или верное дело? Командир-невидимка дал передохнуть и снова призвал. Безрассудство меня влечет, благоразумие удерживает. Отец оказался зорче тебя и под каким-то предлогом позвал меня в огород к петрушке и картошке. Сперва сказал, что долго искал и наконец нашел какого-то дядю в Чикаго, богатого торговца мясными консервами. Дядя, молодец, обещал прислать вам необходимые бумаги для отъезда в Штаты. Тебе отец пока ничего не говорил, все еще вилами на воде писано. Сначала соберешь документы, но это недолго. Тогда поедете и устроитесь как законные эмигранты. И все будет хорошо, это ясно. Европа пала и долго не встанет. А фиглярствует и притворяется оптимистом он для тебя, не хочет расстраивать. После отцовых признаний заговорил я. Рассказал, что тоже покидаю старушку Европу. Еду, надеюсь, не в ловушку. . . С тобой я подробностей не обсуждал. Объявил, что отъеду на месяц, может, на подольше, потом вернусь, но не позднее весны, придет весна-42 – и я вот он. С искренностью было покончено. Остались дежурные фразы и чувства. На прощанье обнимал и целовал тебя с грустью. Но к Рильке я проявил больше внимания: скормил ему одну за другой двадцать сочных морковок.

## Париж, лето 1977

Страница за страницей ты воскрешаешь. И исчезаешь страница за страницей. Где же ты настоящая? Тебя нет, чтобы ответить с нежной насмешкой: «Не такая я, сыночка, кривляка, какой ты меня представил».

А третейских судей тоже – иных уж нет, а те далече. О своем первом муже Беркове ты не рассказывала мне никогда, не знаю даже, как звать его. Кажется, и отец не говорил. Одно помню: помянул его твой брат Арман году в 36-м. Вы поругались, и Арман сказал мне: «Берков ее раскусил». Бог весть, когда ты с ним познакомилась. Бог весть, какой ты была в ту пору. В пору одесской молодости, в 908 – 912 годах. Не знаю. Пишу, как представляю, и мучаюсь совестью, что представляю не так. Почему не спросил тебя? Положим, сыну не тоже знать о твоих первых волнениях, но писателю – и гоже, и должно. Правда, полно фотографий тех лет. Но – фото как фото, нарочиты, жеманны. Ты красива, щечки пухлы, волосы еще коротко стрижены. Капризна, спешишь жить и чувствовать. Обожаешь музыку. Помнится, романтиков любишь больше предшественников. И Массне-де лучше Моцарта, Чайковский – царь и бог, а итальяшек знать не знаешь. А Петра Ильича знали твои профессора. Мерзавец, говорили, но – море обаянья. А ты отличница. По-французски говоришь, как по-русски, хотя и с акцентом. На удивление папе с мамой любишь химию и очень любишь домоводство, шьешь и готовишь превосходно. Слежкой тебя не донимают. Папа в меру строг, в меру насмешливо понимающ. Мама, разумеется, тоже само понимание и готова к тому, что в юности всяко бывает.

Кто знает, что позволять барышне из приличной семьи? Это дело тонкое. Хорошую партию упускать – зачем? Но очень торопиться с замужеством неприлично. Посмотрим по обстоятельствам. . . Одесситы простые, проще других малороссов. Киевляне, к примеру, чванливы и большие транжиры. В Харькове народ допотопный. А на Черном море – все веселые, шутка в почете, и с моряками вам не посерьезничать, не почваниться. Моряков очень много. И, мама моя, сколько торгашей, турок, китайцев, кавказцев, греков! Все им рады, все заывают к себе. Одесситы – не петербуржцы и не москвичи. В столицах любят крайности – сегодня грешат, завтра каются, сегодня всё запрещают, завтра всё разрешают. В Одессе народ скептический и осторожный. В гости ты ходишь часто, на балы – раз в неделю. И ты не робкого десятка, давно поняла: нечего стесняться отшивать бесстыдников. Они только и ждут дурочку, нетерпеливую глупую курицу. А ты не курица и не гусыня. Ты просто лакомый кусочек. Кусочек с коровий носочек. Торговля кожей – дело прибыльное, люди вы богатые. А Беркова я назову Николай. Федор или Владимир – будет совсем не то. Николай, скажем для верности, – инженер. Молодой, подающий надежды. Очень знающий. Инженер-путеец. Мечтает о мостах через Обь и Лену, поедет далеко в Сибирь покорять стихию, насаждать цивилизацию и внедрять достижения прогресса, достижения колоссальные. Сибирь воспрянет ото сна и нагонит Европу, от которой отстала по крайней мере на три века. Берков тоже ходит на балы. Иначе б

не встретились, Беркова твоя родня не знает. И еще я решил: он старше тебя на три года. Он не сердцеед, не фанфарон, а молодой простак и с первых слов все тебе выложит. В движеньях резковат, – верно, думаешь, и нравом резкий. Грубый, коренастый, румяный, славный малый. Не станет нашептывать тебе пошлости и сальности, как другие танцоры – те спят и видят обжиматься в темном углу. А Берков тебе, может, и нравится. Во всяком случае, мечтаешь, в меру собственных представлений о счастье, уйти от папы с мамой, жить своим домом, иметь богатого мужа, много детей и прислугу. Словом, идеалы твоей среды. Преданность считаешь не меньше страсти. Брат Арман взялся за тобой приглядеть. Инженера он хвалит, водит с ним дружбу, заодно шпионит.

А ты уже привыкла, что кавалер – здоровяк и ухаживает на свой лад, подчеркнуто основательно, как и он сам. Были у него прежде амуры, не были – скрывать ему нечего. Он – вот он весь. Брат его в общем одобрил и говорит тебе – давай к делу: надо позвать на чай, если Берков понравится, устроим в его честь домашний концерт, ты для него постарайся, сыграешь, покажешь свои таланты. А тебе от ухажера хочется, конечно, африканских страстей, но без них оно, может, и лучше, надежней. Правда, в своих чарах ты и так уверена. Захочешь – влюбишь. Впрочем, кто кого – еще вопрос. Но ты умна, знающа, инициативы Беркову не уступишь. И брат, известный ловелас, дает советы: тут промолчи, тут прикинься простушкой, покривляйся, скажи «ах, что вы!» и непременно держи в напряжении, то ласкай, то гони. Научив тебя женским хитростям, делится и своими, мужскими: он так любезно держится с дамами, что они отдаются ему как бы невзначай. Дело к свадьбе. Все идет как по маслу. Беркова отца с матерью придумывать не стану. У инженера блестящее будущее. Сибирь с Туркестаном ему – Земля Обетованная. Обойдется человек и без папы с мамой. Сказал им, и дело с концом. Время мирное, дела идут, гроза 905-го пронеслась – и нету, все ясно, сюрпризов не предвидится, верней, они предвидятся ясно, как и ваша с Берковым свадьба. Всякие формальности не твое дело, и приданое не обсуждается. Вы куда-то едете в свадебное путешествие. Например, на Байкал, под Иркутск, в те самые края, где Берков жаждет осваивать пространство и внедрять прогресс. Ты поначалу в штыки: в этой Сибири живут одни бандиты и каторжники. Потом сдаешься: так у вас водится, что жены следуют за мужьями. К тому же в транссибирском экспрессе удобно и просторно, и Коля и нежен, хоть и неловок. Ты едешь и видишь край дикий, но привольный, избы, медвежьих шкуры, синий вереск и тундру с чахлой растительностью под серым небом. Пейзаж я тебе, однако, не выдумал. Все картонные красоты взял из фильмов Эйзенштейна и Пудовкина, Гони пошлость в дверь, она войдет в окно. Избавлю тебя хотя б от снегов, тройки с бубенцами и самовара!

А любовь прошла, почему – не знаю. Может, Берков в постели груб: раз-два, и кончено, и никаких чувств. Может, и женился, потому что полезно для здоровья, а теперь главное – карьера. А может, завел кого на стороне, мол, каши маслом не испортишь. И вообще, грубый такой, заземленный. У вас в доме – где-то на полпути от Южного Буга до Одессы – он тиран и самодур, измывается над садовником и прислугой, тебя лишил своей воли, ты у него безгласная раба и хозяйка только в собственной комнатенке. Ты снова замечталась об Онегиных и Печориных. Некому послушать твою игру, некому похвалить, пропеть дифирамбы. И не с кем поговорить о Брамсе, Делибе и Верди. Берков, кроме своих мостов-дорог, ничего не знает. Вы не пара друг другу, ты – душа возвышенная. Спустя три месяца взяла и вернулась к папе с мамой. Приняли тебя, бедняжечку доченьку, со слезами на глазах. С Берковым кончено, уговаривать бесполезно: не вернешься ни за что. Развестись в царской России – целое дело. Много месяцев потратил папа на твой развод. А вскоре является Александр Биск. Ты измучена берковской грубостью, Биск тебе – само совершенство: непринужден, водится с поэтами, пишет сам, восхищается Европой, правда, довольно туманно и не знает толком, чего

хочет, но в себе не копается, точно боится найти самого себя. Чем тебе плох? Хорош уже тем, что полная противоположность Беркову.

Сочиняю, сочиняю... Все, что написал, – сплошь условности и общее место. Иначе не могу. Тебя, двадцатилетнюю, не знаю совсем и рисую не портрет, а схему, не столько легко, сколько легкомысленно. Можешь быть героиней ричардсоновских романов или, через столетие, пошлых книжонок в духе Марселя Прево. Ты, конечно же, «блистаешь красотой». От литературных клише красоты я избавиться не в силах. А Берков – лицо эпизодическое, и нет нужды разрисовывать его. Глянули – и забыли. Все же досадно, что не расспросил я тебя о событиях твоей молодости. Теперь вот то и дело приходится подправлять, подрисовывать образ и – все меняется: розоватая пастелька переходит в багровый шарж, а нежная дева становится грубой самкой. Золя, Мопассан, помогайте! С отцом, например, познакомилась ты еще до развода. Ты порочна и сладострастна! Уж прости за грубость. О грешках юности мать впрямую не спросишь. Легче блюсти приличия и делать вид, что в десятых годах любовью не занимались. А чем, интересно, занимались? Мужу ты изменила с моим отцом. Берков колесил по Сибири, бедняга, собираясь строить мосты, как Потемкин деревни! А ты познаешь сладость супружеской измены, как говаривали Щедрин и Фейе с Бурже. И – как там в романах? – отдаешься первому встречному. Кучеру, мужику. Возьми меня в Распутины. Барыня сама первая бежит в конюшню, подойдешь к ней – валится на солому. Подсобите и вы, Ибсен с Д'Аннунцио. Словом, ты безнравственна, как красотки тех лет. А в постели несравненна: ловка, жадна, буйна и покорна. Муж все видит. Но не ты его бросила, а он тебя. Потому что слишком уж ты влюблена в любовь. Забыла, что жена да убоится мужа, а на Святой Руси такого не потерпят. Так что спасибо, Молдаванка, спасибо, портовые кабаки. Отец любит таких, совсем пропащих. Ему свет в окошке – испитое лицо на рассвете, хоть где, в Альтоне, в Генуе, в Ливерпуле. Вот он и подобрал тебя. А что тут – похоть, любовь, жалость, обожанье, не важно. Правды все равно не узнать. Ох, как я зол на тебя, что не знаю тех подробностей. Не знаю, в уславе или нет зачала ты меня. И никакой, может, Берков не Николаи. Сергей, Константин, Павел или Дмитрий – тоже не годятся. И сапожник я без сапог. Ведь как-никак журналист, мог бы взять у тебя, пока не состарилась, интервью. Поломалась бы, а потом уступила б. Ведь сын имеет право однажды узнать. Сказал бы тебе, что беседовал с великими, Сен-Жон Персом, Шагалом, Ионеско и Беккетом. И то исповедались как миленькие. Стало быть, мой допрос был бы таким:

– Берта Турянская, сколько раз вы сношались за ночь с отцом моим, А.Биском, в первое время после свадьбы?

– Боже...

– Я вас спрашиваю.

– Три-четыре...

– Точнее?

– Обычно – три.

– А по субботам?

– Четыре.

– Вам нравилось это?

– А в чем дело?..

– Отвечайте на вопрос.

– Очень нравилось.

– Больше, чем с Берковым?

– Это разные вещи.

– Так я и знал. Объясните почему.

- Берков был груб.
- Но проникал лучше?
- Да. Как будто распинал.
- Распинал или распиливал?
- Сама не знаю. . .
- Как скоро наступал оргазм?
- Я вас не понимаю.
- Понимаете.
- Наступал. . . ну, по-разному.
- При оргазме вы любили похабщину или лесть? Или ни то, ни другое?
- Не знаю.
- Отвечайте точнее.
- Грубость мне нравилась.

Есть, конечно, другой вариант – культурнее:

– Знаешь, мамочка, я ведь журналист, человек любознательный. Предлагаю тебе игру. Я ничего о твоей молодости не знаю, никогда с тобой о ней не говорил. Вот и давай с тобой поиграем в интервью; новичок-репортер расспрашивает знаменитость. Знаменитостью будешь ты.

- Ну, давай, дурачок.
- Итак, где ты встретила Колю Беркова?
- Извини, но он не Коля, а Вася. Василий Борисыч. Как где? У нас дома. Он младший сын папиного поставщика. Каждый месяц привозил кожу из Воронежа и Саратова.
- Так он не инженер?
- Нет, конечно. У него была коммерческая жилка. Но он и на скрипке играл. У нас с ним вышел дуэт.
- Настоящий мужик был?
- Пожалуй. Но душа нежная.
- Ты была счастлива с ним?
- Очень.
- А жила с ним всего лишь полгода.
- И потом старалась забыть. И забыла. Он очень кашлял. Слабая грудь была. Мы два раза ездили в горы, на Кавказ, но ему стало хуже. Родня его мне говорила: брось, выйди за другого, он не жилец, что тебе мучиться. . .
- А с отцом. . .
- С отцом я жила с горя. Потом полюбила.

## Париж, май 1973

Как всегда в апреле-мае, я приехал к вам с отцом в Нью-Йорк на Риверсайд-драйв. Квартиру ты отделала, вылизала и украсила цветной глиняной скульптурой: бюсты друзей и знакомых, Горького, Черчилля, Пастернака и Дон-Кихота. Делала по две-три штуки в год, на большее сил по старости не хватало. Ты грустно смирилась, но, сколько могла, творила. Не хотела быть, как сама говорила, «старой калошей». А еще старалась в память о своем учителе Архипенко. В этот раз ты долго о нем рассказывала, показывала письма, в которых он расточал тебе комплименты. Скромней, говорила ты, и бескорыстней не было человека. Все вокруг задирают нос, ни в ком ни на грош скромности, а это самое ценное, правда ведь, сыночка? Такая прелестная ты, слабенькая. Отвечать тебе я не решился, посмотрел на отца. В свои восемьдесят восемь с лишним лет старик хоть куда. Стал туг на ухо, а так в полном порядке. Одно смутило: вдруг взял и продал все свои марки, ни забот теперь, ни хлопот. Но, подумал я, лиши стариков любимого дела – сразу дают дуба. Никак не мог я отделаться от грустных мыслей. Каждая встреча с вами, может, последняя, и неизвестно, кто из вас кого переживет. Поэтому разговоры мои были безобидны, почти пусты. Ты спрашивала, о чем читал я лекции в Буффало и Рочестере. Читал о послевоенном французском театре, о модном у литературной европейской молодежи абсурде, об атомной бомбе и мировой поэзии. Отец тоже отделялся пустяками, рассказал, как ходит днем в кино, пользуясь пенсионерской скидкой. В кино хорошо: все забываешь, сидишь, сравниваешь прелести Брижит Бардо и Софи Лорен. Или кривлянье Митчема и Селлерса. Нехотя согласился старик тряхнуть стариной, вспомнил, как увлекался Жуковским, как впервые прочел Хлебникова, как пообщался раз в жизни с Алексеем Толстым в сочинском публичном доме. Болтовня и мне была палочкой-выручалочкой. Я, кажется, впервые подробно рассказал вам о своих лекторских гастролях – и этих, и прошлогодних в Милуоки. Устроил вам развлекаловку, нагородил чепухи. Очень детально описал современную библиотеку, потом студентов – негров и шведов. Шведы, говорю, нынче тоже косноязычны, наслушались Элвиса Пресли с битлами. Припомнил, как говорил о жизни или о политике годах в пятидесятых или в семидесятых. В городе Фес с арабом-чиновником, знавшим латынь. Или в Конго с министром, желавшим порвать с европейским влиянием. Или с немцем-пастором, шедшим из Тибета в Катманду переселить душу. Наплел вам с три короба, прикрылся чужими лицами и небылицами, вместо разговора по душам устроил кино. Распались мы на звук и кадры, и слова и чувства подменила звуковая картинка.

Отцов младший брат Михаил недавно овдовел. Ты уговорила отца поехать с ним в Адирондак или хоть в Лейквуд, где вы отдыхали с ним постоянно. Такие деревья, такие озера, так спокойно все! Что еще надо двум старикам? Вспомнят прошлое, поглядят друг на друга, помирятся, сдружатся, а то вот развела суета. Миша, конечно, не ангел, это нет, но дядька неплохой. И самое главное: Миша, дурак, не понимает, что без брата нельзя. Ты с ними

не поедешь, не желаешь быть третьей лишней. Как, мол, сыночка, права я? Конечно, права, Лейквуд – самое место для мира и дружбы. А мне – в Париж, работа не ждет. И опять покидаю вас, опять у меня смутный страх. Прощания становятся все короче, все суше. По дороге в Париж мой «боинг» два раза падал в воздушную яму. В тряске ранило четырех пассажиров, поднялась паника, сердце у меня колотилось нехорошо. Ночью пришлось колоть успокоительное, однако лекарство помогло мало. Пятьдесят лет – не мальчик, но муж, и все же таких сюрпризов боялся и сам себе был противен. Следующая ночь – снотворные, и опять без толку. Наутро собрался к врачу, в десять звонков из Нью-Йорка огорошил: дядя Миша рыдал на том конце провода. Насилу разобрал я слова. За несколько часов до того их гостиница в Лейквуде загорелась. Пожар был недолго, но погибло пять человек. Сам он прыгнул в окно на пожарную простыню. . . Тут он застонал в трубку, крикнул, что страшно виноват, что ничего не мог сделать, что огонь был ужасный, что сомнений, увы, нет: труп опознать нельзя, но отец сгорел. Из-за глухоты не услышал тревоги, а Миша из-за сильного пламени не смог проникнуть к нему. И опять: виноват, страдает, не знает, что делать. Я утешал, задыхаясь.

Следующий час я обзванивал твоих ньюйоркцев: двоюродного брата, племянницу, друзей и отцовых коллег. Просил их перезвонить остальным, чтоб скорей шли к тебе. Пусть побудут с тобой. И непременно врача, он выпишет транквилизаторы. Мне всё обещали. При тебе подежурят неделю как минимум, до самых похорон. Затем мне удалось дозвониться до Марии. Она – за границей в командировке. Попросил поехать к тебе заменить меня и вообще действовать там вместо меня. Физических сил справиться с потрясением не было. Вдруг ледяной пот, озноб. Звонить тебе не могу. Нужные слова не найду. Сейчас позвонят тебе другие, меня от трагедии увольте. Пошел из кухни в гостиную и упал. Пролежал без сознания четыре часа. Очнулся – сам себе отвратителен: старею, стал малодушным, умыл руки и увильнул, когда больше всего тебе нужен. Нет, надо, надо лететь назад в Нью-Йорк. А пульс неровный. . . И я пошел к врачу. Лететь, не лететь – пусть решит медицина. А совесть не давала покоя. Нервы не в порядке, сказал врач и прописал душ и валерьянку, через неделю, говорит, все пройдет. Я мнусь, сомневаюсь. Можно, спрашиваю, лететь в Америку? Можно, отвечает, но для здоровья лучше не лететь. Объясняю про отца. Мне, говорю, не для здоровья, а для совести. Ответил он как-то сквозь зубы, что, дескать, совесть не в его компетенции, а пить валерьянку можно и в самолете.

До ночи я колебался. Успокоительных не пил, думал, пусть организм сам решит: быть или не быть. Надеялся, верно, на новый приступ. Он и случился. Я опять потерял сознание. Наутро, на рассвете, очухался: ноги ватные, сердце как молоток. Решил не ехать. Должен, думаю, набраться сил для тебя же, ведь мне теперь придется заботиться о твоей судьбе. Чтоб было не по-твоему, а по-моему. Я улыбнулся злорадно. Значит, никаких похорон, соплей, идиотских речей и букетов и моих собственных новых страданий. Но как же святой сыновний долг? В две минуты насочинял себе оправданий. Похоронный обряд – безобразная уступка обществу; скорбный вид друзей и близких – недопустимое лицемерие; отпевание – простая работа: священник за четверть часа до молитв и знать не знал усопшего. Иду, вернее, гоню себя палкой в поход на всю эту обрядовую пошлость. Ну до ваших ли мне ахов-охов? Без вас тошно. Но тошно от самого себя, что подлец я и трус. На другой день пришлось действительно успокаиваться. Для того написал тебе письмо: объяснил довольно сумбурно, что целых три врача категорически запретили лететь, так что, плюнь я на здоровье и прилети-таки, неизвестно, кто кого похоронит. Но, добавил, никогда не прощу себе, что не исполнил последнего сыновнего долга, не поцеловал отца в лоб, не постоял с тобой молча у гроба. Торжественно просил посланную мной Марию и дядю Мишу с семьей не оставлять тебя! Я – в Париже, болен, но, как только поправлюсь, сразу стану хлопотать. Тридцать пять лет жили порознь,



хватит, пора съехаться и вместе чтить отцову память! Наши сердца, заключил я, скорбят. Общая скорбь – основа нашей с тобой совместной жизни.

То ли искренне я писал, то ли спешил оправдаться. Сам не знал, что и думать. Но, как говорится, назвался груздем. . . Значит, как решил, так и будет: приедешь в Париж и станешь жить у меня. Как по заказу, в нашем доме продавалась квартирка. Я взял все свои сбережения, купил. Сразу и переедем с Марией, а тебе оставим нашу. Понимал, что поступаю неосторожно, но насколько – не подозревал. Не знал, как будем спорить и ссориться. Или знал, но решил, что со временем поставлю на своем. Ты – старуха, сил уже нет, будешь у меня ходить по струнке. Сказано – сделано, отступать некуда. И некогда советоваться с Марией. Поступил как любящий сын, позаботился о старухе матери, взялся скрасить твою вдовью долю. Впрочем, принуждать тебя не хочу: решай, писал тебе в новых письмах, сама. В Нью-Йорке у тебя друзья, квартира. Хочешь остаться – оставайся. Правда, я, дурак, из-за тебе разорился, все деньги пошли на твоё парижское обустройство. Но ты, пожалуйста, оставайся, если хочешь, в Нью-Йорке, где жила так спокойно с отцом и почти счастливо. Что до практической стороны дела, тут ты была беспомощна, так что правил бал я. Мария руководила на месте. Надо было закрыть счет в одном банке, открыть в другом, избежать лишних налогов, подписать бумаги, вынести волокиту, продать мебель, заплатить за квартиру, возможно на время удержав за собой. Дела, по крайней мере, потребовали от тебя ответственности и отвлекли от горя.

Ты в ответ тоже написала. Писала теперь, как курица лапой. Спросила, почему не еду к тебе, когда поправился. Надо поклониться отцовою могиле, надо обсудить с тобой дальнейшее. Я ответил подчеркнуто сухо. Во-первых, готовлю тебе жилье. Во-вторых, не хочу давить на твоё решение на месте. Потом же не оберусь упреков. Говорил сейчас, что думал. Потому что хотел, чтоб ехала ты как бы добровольно. А ты, может даже бессознательно, хотела ехать, как будто тебя заставили. Мы перебрассывались сомнениями, переживаниями, уловками, увертками. Я вроде покрепче тебя, я обсуждаю дело с твоими друзьями, они в один голос – конечно, надо ехать: овдовев, ты постарела в месяц на десять лет, единственный сын позаботится о тебе, будет тебе поддержкой и опорой. Четыре месяца спустя ты была готова. Все твои друзья сочли: сын заменит отца, иначе и быть не может. Сложив в огромные чемоданы старые безделушки, собственные скульптуры и бумаги отца, ты погрузилась на пароход «Франция». Я просил тебя взять до Гавра кого-нибудь из друзей в провожатые, но ты компании не захотела. Да, попробуй смени континент в восемьдесят три года. Покорилась, конечно, поддалась на уговоры, но в душе затаила что-то сердитое. Несправедлива к тебе судьба. Едва я увидел тебя на пароходе, понял: ты жаждешь мести. У тебя три врага: Мария, потому что отняла у тебя меня; я, потому что сорок лет был богом, а вблизи, день за днем, окажется, бог – обычный человек с человеческими достоинствами и недостатками; и ты, потому что будешь судить себя и осуждать: ты послала отца в Лейквуд, ты убила его! И отныне все – в жертву во имя искупления. Ничто не мило, даже мои заботы и ласки, неистощимое терпение и деланная веселость. Ты невольно раскрыла объятия, но тут же оттолкнула. Не тебе б эти розы, а отцу-покойнику! Отныне виновата во всем ты, а в краткие передышки – разумеется, я. Пощады не будет.

## Брюссель, 1933

Как, чтобы лицей учил меня жить? Ты не позволишь! Нет, конечно, школа нужна и даже необходима. Но учителя разве люди? Учителя – роботы. Голову они просветят, а сердце нет. Сердце. Его может взрастить только мать. А я, твой сыночка, уже ставлю мысль выше чувства. Того и гляди, стану расчетливым сухарем. С каждой книгой и каждым уроком теряю я свою детскую прелесть и улыбку, немножко грустную, ах, какая улыбка, ты за нее жизнь отдала бы! А школа – это ж фабрика. Я не должен относиться к ней слишком всерьез, учиться должен лучше всех, а относиться всерьез, это нет. Боже ж мой, как трудно быть матерью! У каждого, конечно, своя задача. Ты не против. Отец обеспечивает сыночке нормальное здоровое развитие, школа образует мои мозги, хотя это, говоришь, палка о двух концах, а ты, ты, и только ты воспитываешь мои чувства, чтобы рос я тонким, чутким и открытым всему прекрасному. Ах, и сама пока не решила, в кого меня прочишь, в артисты ли, врачи, коммерсанты, даже не знаешь, сможешь ли повлиять тут на меня, а по секрету признаёшься: хочешь, чтобы я всегда оставался маленьким твоим мальчиком и не стал бы тем противным трудным подростком, каким стану вот-вот. Расту я у тебя на свободе. Занимаюсь немножко спортом, езжу с товарищами на экскурсии, плаваю в свое удовольствие, хожу в кинематограф, и ты отпускаешь, хотя кино это ни уму, ни сердцу. Ты научилась даже сдерживать собственные порывы, чтобы ненароком меня не задеть. Нянишь меня и знаешь, что полгода, от силы год – и счастье кончится.

Разумеется, я начну бегать за девчонками. Уже и теперь в августе на пляже прячусь с ними по кабинкам. Что ж, ты найдешь мне приличную. Станем вместе пить чай, ходить на танцы, со временем крепко подружимся, а ты будешь смотреть и молча одобрять. Советуешься с приятельницами, г-жой Мельц и Розочкой Ром. Ты нежна и, может, чуть романтична. Мечтаешь о барышне нашего круга. Встретимся семьями совершенно случайно. Семейство необязательно русское, хотя русская душа самая благородная. Барышня прекрасно воспитана. Тихоня, но не слишком, и красавица, но скромница. Знакомые дамы зашептались, мол, ищешь сыну невесту, нет, не ищешь буквально, но имеешь в виду. Тебя зовут поболтать. А еще зовут родственниц, дальних и бедных, знакомых курортниц – подруг по Ля-Бурбуль и Висбадену, забытых, но вдруг нужных для бесед. Видимо, составлен тебе на радость список девиц. Ты уверяешь, что вообще надобности нет, из чего дамы заключают, что надобность очень большая. Г-жа Мельц представила тебе бурную жизнерадостную особу. Главное – замужем за русским адвокатом, родом из Орла. Дочь моложе меня на год. Ангелица. Тебе показали фото. Нет, не красавица, но с лица не воду пить. Зато умна и изящна, это несомненно или, по крайней мере, очень возможно.

Вы обменялись визитками. Мама Тани Лопато пригласила тебя к ним на виллу близ Стокеля. Мужа слегка парализовало, но в доме покой и порядок. Ухоженный сад, очень,

по-видимому, ценные вазы, персидские ковры и твой любимый строгий лимож. Предложили сыграть в вист. Ты не играешь. Охотно взялись тебя обучить. Таня тебе понравилась не очень. Вялая какая-то барышня. На фото она лучше. Но – ничего, ободряешь себя. Через год-два барышня расцветет и оживет. А пока учишься в вист – буби, пики, что за чепуха! Ну да ладно, хозяйева прелестные люди, знакомят тебя со всеми и безумно любят все маломальски русское. Меня ты пока не призвала. Говоришь обо мне, нахваливаешь, готовишь почву. Однажды привела с собой отца. Он скучал, но повторить визит не отказался: люди как люди. А звали «люди» часто, так что пришлось позвать в ответ. Дома условий нет, зовем в ресторан. Отец деньгами сорить не любит, но для тебя, так и быть, согласен. И все шестероходимся в заведении у Намюрских ворот. Я потрясен паштетом и уткой с апельсинами, девицу Танечку не заметил. Вернее, заметил, что чепуха, а Танечкину маман, пышную, с декольте и волнующимся бюстом, оценил. Я разгорячен вином, представляю себя и мамашу в разных позах. Ради мамаша же соглашаюсь на еще одну встречу. Все восхищены моей сдержанностью. Воспитан, по всему, прекрасно. Жду, думают, слова от барышни. А что – барышня. Барышня в таких случаях – как маменька скажет. А маменька говорит: хороший мальчик.

Уроки виста кончены. Память у тебя, объявила ты, стала девичья. Тебе предложили лото и шашки. Но пора бы позвать Танечку к нам. А у Танечкиных родителей о дружбе свои понятия: давайте устроим в воскресенье пикник! У них прекрасный автомобиль, старая «минерва», в отличном, однако же, состоянии, и г-н адвокат сам водит, это ему чудесный отдых. Поедем на природу, в Суаньи или в Вавр. Места там дивные, пройдемся пешочком. Дети поотстанут метров на триста-четыре, погуляют без родительского надзора. Я молчу. Пройтись пешочком по дивным местам я не прочь. Погулять или пощупаться с Танечкой ради такого дела можно. Приехали на место, вы шлете нас в лес по ягоды, это зимой-то! Наконец рассмотрел «невесту»: глаза сносны, с зеленью, а в общем холодные серые; рот как щель, конопатое лицо, квадратный подбородок. Остальное в том же духе. Угловатая, тощая, ноги как палки. Говорили скучно. Жюль Верн, Доде, Сид, Джеки Кутан, Лаурел и Харди, гастролы Карсенти, Виктор Франсен в комедии Бернштейна, триумф Мистенгет в Летнем дворце. От меня ждут действий. Что ж, действую: спрашиваю, была ли Танечка влюблена. А Танечку натаскали в искусстве кокетничать. Прислонилась к дереву, сунула в рот травинку, лепечет – ах, как жарко, расстегивает пуговку. Снова «ах» – похоже на кудахтанье, всполошенно, но любопытно: сперва расскажу я, потом она. Говорю – покажи лучше ножки, подними юбку, а то видны только колени, колени, кстати, не ахти. Для пушей убедительности прижал ее к себе, она не оттолкнула, но стоит, как деревяшка, словно помощи от нее не требуется. От стыда вернулись поскорей к взрослым.

А ты что ни день, то у них. Вас водой не разлить, вы уже лучшие друзья. Дружбе способствуют и русские разговоры, еще бы, корни у вас общие, прекрасные, древние, само провидение свело вас вместе. Спросила, что думаю о Танечке. Что думаю, не сказал: очень хотелось увидеть мамашу. Раза три адвокатша у нас ужинает. Я тарашу глаза – она считает: неумело строю глазки Танечке, Но Танечка догадливей. Знает, что мальчишки моих лет мечтают о дородных любовницах и такая вот мамаша под сорок в сочетании с духами – предел мечтаний. Но с мамашей, увы, кончено – Танечка теперь приходит одна. По очереди друг у дружки в гостях едим мороженое, играем в шарады, собираемся пойти в кино. Но Танечка без мамаша мне не нужна. Как-то раз ты попросила почистить Танечке яблочко – не хочу. Пусть, говорю, ест банан: чистить проще. В другой раз не дал ей почитать Пьера Бенуа, хотя очень просит. Не дам, говорю, испачкаешь. Теперь Танечка звонит сама, зовет в театр на Шнейдер и Кипуру. Дрянь, говорю, лучше схожу с приятелями в субботу на Пабста.

Я охладел, но ты не сдаешься. Уговариваешь: Лопато – прекрасные люди, адвокат может пригодиться отцу. Я раздраженно-весело отвечаю: Танечка от этого красивей не станет. Ты так расстроена, что думаю: ладно, последняя попытка. Однажды утром звоню ей, знаю – адвокатши нет дома. Зову в кино, где особенно темно и на балкончиках уютно рукам и ногам. Говорю – твое приглашение не принял, потому что должен сам приглашать. Ладно, приглашаю, но с одним условием: будешь гладить меня между ног – в зале темно, никто не увидит. Иначе мне не интересно. Сказал ей грубо своими словами, что именно мне нужно. Она, голубица, даже не возмутилась и кротко предложила другой выход: пойти завтра в бассейн Гласьер. Во-первых, она будет, мне на радость, в купальнике, а во-вторых, приведет подругу Эльфриду, которая наверняка в моем вкусе: полная и на год старше меня. Я вздохнул в последний раз об адвокатше и согласился. Итак, Эльфрида – пышка. Я не свожу глаз с ее прелестей. Мы смеемся, сближаемся, обжимаемся, валимся на край бассейна, потом в бассейн. Танечка – сводня, помощница, сторожиха. Пошли у нас танцы, лодочные прогулки, ресторанчики у Биржи. Не сомневаюсь: Эльфрида будет моей. Танечка – свой парень, выручит, спасет, если что. А Эльфрида – богиня. Но вот тайное стало явным, ты узнала, ты удивлена, но и горда: ходил сыночка за одной барышней, выходил двух! Не иначе Дон-Жуаном будет! Обычно ты не любишь, когда не по-твоему, но тут слова не сказала. Чуть пожурила и крепко расцеловала: значит, мамочка уже не нужна, я и сам могу подыскать подружек? Временное соглашение и взаимосогласие скреплено некоторой суммой «на мороженое». Решительно, у меня лучшая на свете мать, когда не считает, что сыночка – ее вещь! Лото и Лопато забыты. Эльфрида – роскошь, босховская спелая малина. Ученик я и правда прилежный: открыв Босха, изучаю репродукцию – «Сад наслаждений».

## Сан-Франциско, октябрь 1942

«Мидуэй, Коралловое море, Гуадалканал – названия теперь кровавые, разве что с каплей молока из здешних кокосов, да, милая мамочка! Пишу, потому что сижу один. Сегодня суббота, вечер. Дождь льет уже неделю, настроение под стать небу, серое. Последнее время я тебя не баловал, отписывался открытками, всегда одно и то же. Да, меня опять призвали, на сей раз далеко. Да, жив-здоров, как все, кто пока не на фронте. Да, надеюсь, а что еще остается делать? Надежда, пусть она чистый обман, – все же утешает. Сегодня, правда, от обмана тошнит, хоть раз скажу все, как есть. Из России ты бежала, из Бельгии бежала, прибежала в Нью-Йорк, забила в уголок у гудзоновских вод, словно спаслась от мирового пожара. А я на войне, еще до совершеннолетия, был дважды бит, но ничему не научен. Потом продавал – да, к твоему сведению, именно продавал, – продавал англичанам бедняг-бельгийцев в малочисленное английское войско. Потом, когда вы с отцом собирались в Штаты, меня послали, как чемодан с двойным дном, с липовым паспортом в Оран, далее в Касабланку, а уж там – сам, как хочешь. Пришлось шпионить за поляками и австрийцами, чтобы Лондон помог удрать. Бежал я на Кубу на португальском пароходе, где, кстати, был тиф. Ты, разумеется, считала, что все честь честью и вслед отплывающим провожающие машут с тщеславной надеждой. Родины у меня не было: так, дрянной полукровка. За кого, думаешь, я воевал? Да за того, при ком оставался жив на три секунды дольше противника. А как, о Господи, полгода назад мы с вами лобызались, чмокались в Нью-Йорке! Ты ревела в три ручья, да и я не отставал. Всю войну мочил штаны от страха, пора промочить и платочек носовой в честь победы и долгожданной встречи.

А теперь, к твоему сведению, я опять боюсь. В какую бойню опять угодил? Японцы палят, немцы палят. Победа за нами. Говорю это, чтоб не спятить. Но до победы все может случиться. Может, в океане утону, может, в землю лягу под деревянным крестом ценой, как говорят ребята, в четыре доллара шестьдесят пять центов. Обстановка здесь поганая. Я, чтоб ты знала, санитар-рентгенолог, с какой стати – не спрашивай. Прошел курсы, как велели, получил диплом за подписью генерала, делаю рентген тяжелораненым, прибывающим с таинственных островов. Славная добыча у этих Куков с Бугенвилями: на груди золотишко, в груди свинец. Сперва просвечу лучом я, потом пошурует ножичком доктор. Три четверти после этого мертвецы, остальные – навечно парализики. А живые тут тоже не люди, а черт-те что с дыхалкой – впечатленье, что она у них бесхозная, потеряла хозяина. Можешь представить, о чем я тут беседую с ходячим копчиком, поджелудочной железой или вонючей толстой кишкой! А я, вместо того чтобы гордиться, что приношу пользу, все ненавижу. Вкратце общаю, как жил. Отплыл в Штаты, собираясь всерьез драться с немцами. Перл-Харбор, как я уже писал тебе, слава Богу, окончательно вдохновил меня. Однако и это не чистая правда. Да, я геройски вступил в ряды вооруженных сил Ю-Эс-Эй. Но не чтобы драться, а чтобы

скрыться! Свободная Бельгия по мне плакала. Франция тоже, потому, видите ли, что пописывал я во французской газетке в Нью-Йорке. Нет уж, говорю, один такой, адмирал Мюзелье, уже повоевал для де Голля, так что спасибо, говорю, воюйте без меня! Пришлось просить у Америки защиты от своих же, от единственной, дорогой и родной Франции: американский закон запрещает выдачу иностранных военных правительству, ими не признанному. Но америкашки, разумеется, баклуши мне бить не дали бы. Призвали б в два счета. Так что героизм мой в том, что я опередил события: успел вступить раньше, чем вступили меня. Потому, как герой-доброволец, имел право выбора – где и как воевать. Вроде бы ясно – в Европе, шпионом. Но нет, угодил вот сюда – ближе к Токио.

Так что, видимо, суждено мне умереть за Гавайи и калифорнийские апельсинчики. Та еще смерть. Надеть бы, думаю, гражданское тряпье, наладить грузовичок – и шпарить через мексиканскую границу к Аризоне. Наверняка это раз плюнуть. Янки и в голову не приходит, что можно дезертировать. И то сказать, идиоты. А я два года назад мотался из Тараскона в Пор-Вандр, как раз подучился для Сальвадора и Никарагуа. Дело, я думаю, найдется для водилы-любителя вроде меня, перевозить оружие или, извини, желтую лихорадку с серо-буромалиновым сифилисом! В свои двадцать три, мамочка дорогая, в аду я уже побывал, даже успел там освоиться. Посмотрюсь в зеркало – эх, так бы и дал по себе очередь! Сейчас вот, чтобы не думать о вас с отцом, пойду выпью пару банок теплого пива и запью стаканчиком «зомби». Это коктейль такой с ромом, примешь – тут же вырубись. Если протрезвею, наверняка напортачу с рентгеном в госпитале: челюсть Джонса припишу Смиуту, а легкое Фэрроу – Уильямсу. Отправлю на тот свет сразу четверых – и глазом не моргну. А за ними и сам отправлюсь.

Пишу тебе, чтобы излить душу. А выливается, кажется, тошнотворный утробный гной, почище гниль в братской могиле. Имею право поделиться с матерью. Вот и получай свою долю мерзости, отчаянья и страха. В Сан-Франциско спокойно, как в могиле. Все дышит саваном, гробом и тайными похоронами. Солдатики чешут по асфальту в последний путь. А горизонт в тумане низок и лжив: добро, мол, пожаловать на смерть. Нас пять тысяч, прибыли с Тихого океана. Отбудем – туда или еще куда. Друг с другом не говорим, вместо этого всю дорогу жуем и жуем хот-доги. Что ж, котлета как котлета. И мы скоро будем такой же. Только не чистенькой и питательной. Так что, видишь, не так уж эта «вся правда» и хороша. Раньше-то я чувства свои прятал, а тебе выдавал полную безмятежность, чтоб не приставала со слезами и просьбами. А теперь вот из духа противоречия режу правду-матку. Я ведь весь в тебя, я тоже с заскоками. Ты, к примеру, раскисаешь, а я отчаиваюсь, сомневаюсь и паникую. Если в этом 42-м не погибну, то состарюсь по крайней мере лет на двадцать пять. Очень тебя, мамочка, люблю и ненавижу за то, что не все могу тебе сказать».

Я перечел письмо и решил кое-что исправить, смягчить некоторые грубости. А потом вообще раздумал и не послал. Написал другое, оно, по-моему, больше тебе подходило. Этаким сладенький киселик:

«Дорогая мамочка!

Работаю в госпитале. Читаю книги раненым солдатам и офицерам. Они в отпуске, вернулись с Тихого океана. Большинство ранены легко. Свободного времени у меня достаточно. Сегодня прекрасный солнечный день, и я гуляю в самом красивом на свете городе. Удивительно гармоничное сочетание сиреневых и зеленых домиков, стоящих как бы друг на друге, ступеньками. Вид с гор головокружительный, все как на ладони. Порт с серыми кораблями, склады с какими-то грудями и штабелями в беспорядочном движении, тихая ровная гавань, пирс, похожий на

жирафа, легшего, чтобы взобрались на него и понеслись к северным островам и берегам, рыже-коричневым, в синюю крапинку, растерзанным, горячечным при океане-повелителе, то ясно-тихом, то мутно-гневно. Глаза мои, и на Маркет-стрит, и на Телеграф-хилл, тоже смотрят куда-то вдаль, в другие берега и времена. Представлю себя то в Пекине, то в Гонконге, век уже не имеет значения. Тут же забегу в библиотеку, почитаю изречения древних китайских философов и воспряну духом. Война не вечна, не то что старый трамвайчик, ползущий по Пауэлл-стрит, и звенящий, как трудолюбивая стрекоза, и словно зовущий пассажиров на помощь на конечной станции, чтобы повернуть и ползти вниз. Будем как восточные мудрецы. Найдем во всем смысл. Очень нежно думаю о вас с папой, и ты это знаешь. Уверен, еще до весны успею заскочить к вам повидаться. Заранее радуюсь предстоящему счастью».

## Париж, апрель 1975

- Всем прекрасным в моей ужасной жизни я обязана тебе.
- Смотри, какие пышные розы. А лепестки, обрати внимание, внутри красные, а к краям переходят в желтизну. Здесь, в Багатель, все розы такие диковинные.
- Да, сыночка, ах, как хорошо все забыть и смотреть на цветы. Только память не дает покоя.
- А правда, каштановые почки, когда лопнут, похожи на лягушачьи лапки?
- Твой Париж – гадость.
- Что ж, прошлое в твои годы приятней будущего. Ты по-своему права.
- Скажи еще, что я старая дура! Ты со своей женушкой заодно. Ждете не дождетесь моей смерти. Сразу вздохнете свободно!
- А правда, французский сад. . . Правда, французский сад похож на стриженного пуделя?
- Пудель-шмудель, плевать мне на все.
- Ты сегодня немножко нервная. Может, выпьешь лекарство?
- От твоего лекарства только спать хочется. Нет уж, отосплюсь в могиле, благо пора. Да нет, какое пора, уж и сроки все прошли. Зажилась я, всем давно в тягость. Надо было и мне за отцом отправиться. А то ты почти и не плакал. Хотя и над двумя мертвецами не плакал бы. Хоть ко мне-то на похороны придешь? К нему ведь не пришел.
- В сотый раз говорю, болен был. Даже рецепт тебе показал.
- Рецепт тебе за сто франков хоть какой сочинят.
- Дивный сад. Ну разве я не прав?
- Прав, прав. Беда в том, что ты всегда прав.
- Значит, мир?
- Какой может быть мир в моем разбитом сердце? Ты хоть сам понимаешь, что говоришь?
- А правда, хорошо смотрятся тритумы с газаниями?
- Три. . . – что?.. Все-то ты знаешь. С тобой просто невозможно разговаривать. И чего только нет в твоей голове. А в сердце пусто, в сердце хоть шаром покати. Все голова, голова. . . А мамочка тебе всегда говорила – живи не головой, а сердцем.
- Может, вернемся?
- Конечно, как не по тебе, сразу – вернемся. Знаю я тебя.
- Если я тебя сегодня раздражаю, можем перенести прогулку.
- Подумаешь, прокатил на такси и считаешь, заткнул мне рот?
- Давай не будем переходить на личности.
- А про птичек и рыбок мне не интересно.
- Но ты же любишь природу.



– Я уж теперь и сама не знаю, что люблю, а что нет. Совсем распадаюсь, и ты тут, сам видишь, ничем не можешь помочь.

– В следующий раз ходим с тобой в Сад Шекспира. Представляешь, один англичанин назвал все эти цветы и деревья именами из шекспировских пьес. А растения свои привез отовсюду – из Японии, Индии, с Суматры. Собрал целый сад, купил землю. Потом подарил Парижу.

– Боже, назвать сирень как пьесу! Дурак, интеллигент.

– Я тоже в своем роде интеллигент.

– Может, ты еще и Шекспир? А впрочем, кто ж еще! Только и знаешь, что строчишь свои книжки.

– Спасибо. . . Может, пройдешься по саду одна?

– Чтобы не несла околесицу? Ты очень любезен.

– Боже, как с тобой трудно!

– А тебе подавай мать молчунью, чтоб молчала как рыба. Дудки! Тут вы с женушкой просчитались.

– Да мы просто мечтаем, чтобы тебе было хорошо.

– Знаешь что, от этого «мы» меня рвет.

– Ты всегда злилась, что мы живем дружно.

– Только на людях!

– А ты никогда не могла смириться, чтобы кто-то в семье был счастлив не спросясь тебя. Вечно ищешь соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видишь. По-твоему, выходит, одна ты совсем без греха?

– Ночью, сыночка, я. . .

– Не надо, не разжалобишь.

– Да выслушай ты. . . Ворочаюсь с боку на бок. Ругаю себя, что была плохой женой и плохой матерью. Ем себя поедом.

– Не впадай в другую крайность.

– Но я же русский человек.

– Нашла, чем гордиться.

– Тобой, что ли, с женушкой гордиться? Холодные, расчетливые люди.

– В Париже жить непросто. Не могу я себе позволить все эти – души прекрасные порывы.

– А твоя женушка и рада совсем засушить тебя. Сухари вы оба.

– Твои преувеличения просто смешны.

– Проводи-ка меня лучше к фонтану. Солнце вон в тех кустиках словно танцует.

– Это рододендроны. А пионы не цветут еще, запоздали.

– Расскажи, о чем там твоя последняя книга?

– Так, вымысел. Современный антигерой. Хочет найти себе дело, а ничего достойного не видит.

– У тебя всё – сплошная сушь.

– Может, это у меня самозащита.

– А женушка твоя. . .

– Давай о ней не будем. Я женился двадцать один год назад. Пора бы тебе, кажется, смириться.

– В наше время развестись – раз плюнуть.

– Разводиться нам нет надобности. Мы отличная пара.

– Тебя погубит гордыня. Всю жизнь тебе это твердила. И в школе всегда лез в отличники.

А если кто-то оказывался лучше тебя, ты потом неделю не ел.

– Прошлое можно искажать до бесконечности.

– Говоришь, чтобы оправдаться, что не приехал на папины похороны. Ты первый со своим больным воображением все искажаешь. Скоро скажешь, что не хоронил папу, потому что тебя взяли в заложники террористы.

– Больное воображение не у меня, а у тебя. И если я виноват, то ты тоже не без греха. Я тебя не виню, я просто говорю. Ты бросила своего собственного отца в Ла-Панне в сороковом, и четыре года спустя он погиб в товарняке, как скот. И никто из нас тебе этого не простил, слышишь, никто: ни отец мой, ни Арман, ни Матильда.

– Спасибо, сыночка,

– Убери свой платок!

– Ах, какой сад, какое небо, какой воздух! И детишки играют. Ты нарочно выбрал такое чудесное место и время, чтобы костерить меня?

– Я не костерю. Мы оба хороши.

– С больной головы на здоровую. Поедем домой. Зря я вообще из Америки уехала, там меня бы никто не огорчал.

– Давай хоть лимонаду выпьем.

– Я хочу кофе.

– Тебе же нельзя.

– Мне нельзя слушать твои обвинения. Они меня совсем доконают. Если б ты знал. . .

– Ты, значит, имеешь право меня понемножку доканывать, а я – молчи?

– Ты холодный, как льдышка. Хочешь знать всю правду? Ты хуже своей женушки. . .

– Которая – черт с рогами. Так ты считаешь.

– Да, считаю.

– Твое право. Ладно, давай пойдем на компромисс: возьмем тебе чай.

– И эклер.

– Четыре эклера!

– Ну так расскажи о цветочках.

– В пятьдесят третьем году на острове Барра я первый раз увидел цветы-мухоловки: они питаются насекомыми и похожи на капкан. Сомкнут челюсти – никакая муха не выскочит. Их кормят в одно и то же время. А в Фуншале было другое чудо: холмы сплошь в орхидеях всех цветов радуги. А вокруг, между прочим, вонь, потому что растут они на всякой гнили и падали. А однажды в Крестобале, на юге Мексики, я чуть не ослеп: увидел такое потрясающее дерево, оно словно все в огне, потому и зовется огонь-дерево, цветет, как пылает. А мне повезло – у попугаев тогда были свадьбы. Они слетались на этот пожар и дрались до смерти. И все вокруг было в красных перьях и лепестках.

– Ах ты, мой сыночка!

– А ты от меня уехала. . .

– Не от тебя, а от женушки твоей.

– Да что она тебе сделала?

– А ты заметил, как она смотрит?

– Просто боится тебе не понравиться.

– Простота ты простота. Она хочет живьем всех сожрать.

– А ведь она тебе очень помогла, когда хоронили отца.

– Каждой бочке затычка. Что-то тут не так. Даже очень не так.

– Тебе нужна была помощь. А друзья твои – люди неумелые и неловкие.

– А она ловкая. Ловкачка-палачка.

– Тебе помогай – палач. Не помогай – сухарь. Никак не угодишь.

- В мои годы поздно меняться.
- А в мои годы поздно умиляться на все твои выходки. То подавай тебе гостиницу, то ищи богадельню за городом, а теперь вот пожелала на два месяца в Витель.
- Такая уж моя судьба. Не смогли меня с женошкой удержать.
- Не смогли, увы.
- Отправь меня назад в Штаты!
- У тебя не хватит сил. И потом, врач запретил тебе переезд.
- Тогда делай со мной что хочешь, только сделай что-нибудь!
- Я же прихожу к тебе каждый день. Теперь вот гуляем. Завтра придут твои друзья.
- Инвалиды и доходяги. Не выношу их болтовню. Только и разговору что о покойниках. Ах дорогие, ах любимые! А от этих дорогих-любимых давно один прах остался. И это, по-твоему, жизнь?
- Хочешь, я съезжу в Канны, подыщу тебе жилье? Там мимозы, тебе понравится.
- Все цветами меня пичкаешь! Глаза мне отводишь. Нет, и потом, от тебя далеко.
- Ты же хотела ехать в Штаты. Это еще дальше.
- Черт ты лукавый. Вечно прав. С тобой просто невозможно.
- У тебя никого нет, кроме меня. Нравится тебе или нет, но это так. А ты если и не права, все равно я пляшу под твою дудку.
- А тебе надо, чтоб я – под твою? Живешь с подачкой, скоро сам станешь палачом. Уже и так дышать свободно не даешь, того и гляди совсем задушишь, знаю я тебя.
- А ты, выходит, жаждешь свободы? Ну что ж, значит, здорова.
- Хоть всплакнул бы разок. Так нет же! Говорю, сухарь.
- Если б сухарь! Увы, нет.
- Сухарь, сухарь, сухарь!
- Мне иногда кажется, что моя настоящая мать осталась где-то в прошлом и я никогда больше ее не увижу. А ты не настоящая, на настоящую ты не похожа. И ничего я к тебе не чувствую, я просто, как могу, выполняю свой долг. А люблю и жалею я ту, которая в прошлом.
- Думаешь, наговорил гадостей, я и обижусь. Черта с два. Я тоже считаю, что ты не настоящий мой сын. Отцовское наследство ты, правда, получишь.
- Жалкие гроши. Твоя дружба мне дороже.
- Скажите, какой миллионер! Это все твоя жена тебя учит. Смотри-ка, гвоздики и тюльпаны, а я и не заметила. Хохлатые, как эти твои попугаи. Только клюва не хватает.
- Брикадабазипуссис.
- Минкратапасмис.
- Штамшипро.
- Пятьдесят лет дурачимся. По-моему, старые мы оба для этого.
- Старые, мамочка. Дай-ка руку. Потом еще в других парках погуляем. А на той неделе ходим в зоопарк. Ты не против? Покажу тебе своего любимого окапи. Он изящный, как серна, полосатый, как зебра, и перепуганный, как дитеныш жирафа, брошенный мамой под баобабом.

## Берлин, осень 1948

В очередном жалобном письме ты в который раз молила меня покинуть Берлин. Эта ужасная «холодная война»! Эти сталинские зверства! Нельзя жертвовать собой ради работы! Я должен подумать о вас с отцом, вы-то думаете обо мне день и ночь! Твои слезные мольбы меня насмешили. Дня три спустя я отослал ответ, пятнадцать строк, мол, жив-здоров, чего и вам желаю. И продолжил бурную деятельность. Позвонил в советский генштаб своему коллеге, майору Фрадкину. Через час буду у него, обменяемся бумажками: я ему – наш свежий информационный бюллетень, он мне – конверт с такой же макулатурой. Может, даже поговорим о важном. Например, о двух восточных немцах, которых американцы обвинили в попытке саботажа. Обвинение, впрочем, не слишком доказательно. Так что закончим мы, как всегда, полюбовно. Договоримся о поставках мазута или, скажем, цемента в три западноберлинских сектора. Предупредил майора: о своем маршруте шефам я доложил, так что ловушек мне не расставляют. Но майору хоть бы хны. На Фридрихштрассе по дороге к Панкову мой шофер чуть было не наехал на какого-то субчика. Тот нарочно бросился под колеса. Приезжаю к Фрадкину и сразу заявляю: слушайте, говорю, ведь я – единственный из всех наших, кто с блокады общается с вами и вашим штабом. Ну, устраните вы меня. И кого вы лучше меня найдете? И вообще, спрашиваю, ваши генералы в курсе, что вы мне тут мелко пакостите? Вы же позорите доблестную Красную Армию. . . Всё же ругаться не стали. Но говорил Фрадкин слишком цинично. Он недавно из Москвы. Идейный фанатик – ничем не прошибешь. А у нас тут давно военное братство. Пришлось объяснить, что спустя три года после драки кулаками не машут, тем более на своих же союзников. Он спросил насчет блокады: долго ли продержимся? Я нагло засмеялся в ответ. Он хоть и зелен еще, а пора б ему знать, что нет никакой блокады. С товарищами мы умеем договариваться. Сейчас вообще в ходу жалкие полумеры. Русские не сбивают наши самолеты и воду не перекрывают. И метро у нас работает, и газ по трубам идет. Напоследок подпел ему: Запад, говорю, в этом деле не прав. Мол, наши люди, ответственные за денежную реформу, односторонне нарушили потсдамские соглашения, вот и получили сдачи. Только сдача эта – мелочь. Всего-то и дел, что поставили в Берлине кордон между восточным и тремя западными секторами, и – стоп, дальше ходу нет!

На обратном пути я заехал на ипподром в Мариендорфе, поставил тридцать марок на любимую лошадку, Ксантию. Шанс один к десяти. Жокей на дрожках молодой, очень способный, зовут его Герхардт Крюгер. Дома до пяти написал несколько писем и отчетов. Кончил дело – гуляй смело. В теннис осенью не поиграешь. Немного прошелся, размял ноги. На прогулке я начеку: при моей работе все может быть. До ужина не было отбоя от барышников. Являлись в мой зелендорфский особняк, предлагали черт-те что. То возьми Клее за двадцать кило кофе, то марку из каталога Рихтера – Мюллер – Марка: Брауншвейг № 3 на конверте, по цене много ниже номинала, или Савойский Крест с подписью «Диена» за пятнадцать –

восемнадцать блоков «Кемела». Потом стал одеваться к ужину. Мода былых времен мне по вкусу. Прекрасно смотрятся смокинг, лаковые туфли, платочек в верхнем кармане, узорные пуговицы. Может, почитаю полчаса. Читаю чаще всего экспрессионистов. Очень люблю их, полгода назад познакомился с Готфридом Бенном. А еще восхищаюсь Хеймом и Лихтенштейном. Или разберусь с бывшей подружкой. Заявится такая, просит поцелуйчика, ласки и так далее. На прощание суну ей рюмку шампанского, бутерброд с икрой, и скатертью дорога!.. Мария пришла полдевятого. Рыжая, высокая, статная. Поужинать можем у меня, можем в ресторанчике при свечах: с электричеством перебой. Там, на террасах во двориках между Фазанен – и Уландштрассе, впечатление, что вы в Берлине 25-го года. Но нет, сперва – любовь, вихрь, самоотдача, катастрофа, взлет из бездны к незримым вершинам, и долой полутона, неопределенность, недосказанность. Итак, ужин у меня, на первое – страсть, на второе – холодная индейка, на десерт – пластинка Баха. Около полуночи погуляли. Кромешная тьма, и по небу, словно мириады мотоциклетных фар по расплывчатым облакам, огоньки транспортных самолетов.

Жизнь пошла интересная: о тебе я и думать забыл. Мастер был на все руки! Объял необъятное – дипломатию, возню с бумагами, шантаж, игру, любовь, развлечения с увлечениями, поэзию и служебную прозу. Раз десять на дню менялся, как хамелеон, был и швец, и жнец, и кто же я есть на самом деле, выяснить не старался. Порой сочетал в себе несочетаемое, сам себя отрицал, существовал, как солнце с луной или кошка с собакой. Ну и прекрасно, а чему отдать предпочтение – поживем, увидим. Мне тридцать лет, и я – хозяин всем своим сутям. Может, я и рожден таким вот ходячим недоразумением, парадоксом? Однажды привез русским четверых ихних солдат. Те перепились дрянным ликером и спьяну разбили двадцать витрин в магазине у Штеглица. Я поступил благородно и не думал, простят их или посадят, а заодно обвинят и меня – скажут, что нарочно напоил их, чтобы сделать красивый жест. В другой раз поговорил с Брехтом о высоких материях. Он только что из Штатов, готовит к постановке «Матушку Кураж». Я, разумеется, согласен переводить его стихи. Обсуждаем проблему отношения писателя к политике. Спорим, но худой мир лучше доброй ссоры, так что решаем: писатель идейный, но бездарный, как Бехер, – плохо, а даровитый, но безыдейный, как хронический пессимист Бенн, – еще хуже. Не время теперь нюхать розы. Брехт – человек материально ценный: дал мне почитать Цеха и Верфеля. Книги довоенные, давние, большая редкость, достать невозможно. Но Богу Богово, а кесарю кесарево. По просьбе генералов Клея и Ганеваля написал от имени трех западных держав ультиматум чехословацкому правительству: ваши самолеты несколько раз пролетали над Берлином, нарушали неприкосновенность воздушного пространства; еще раз сунетесь – костей не соберете. Контора моя обеспечивала именно такой обмен любезностями, сочиняла и посылала бумаги. На сей раз генералы велели: не церемонься, вырази презрение, дескать, тьфу нам на вас после самоубийства Масарика.

Иной раз я воспитывал своего шофера. Хочешь приторговывать, валяй, а машину не трогай. Ты у меня на службе, так что соответствуй. Ловчи, но с умом и в меру. А парень из Мекленбурга. Заставь Богу молиться, лоб расшибет. Пришлось огорчить его: еще раз, говорю, застукаю, выгоню к такой-то матери. Напоследок попросил его продать твой кофе. Вообще твои письма меня злили, но, так уж и быть, извинял я тебя: все же присылала мне продукты и марки на продажу. Получать эти посылки я не должен был, однако, на правах победителя, получал. В этой своей ежедневной суете не грех, думал я, и развлечься полчаса, спекулировать. Нет, это не потворство шоферу, а практичность, вполне похвальная. На личном фронте я тоже не успокаивался. Марию любил всей душой, но одно другому не мешает. Менял приятельниц, как перчатки. Иногда держал сразу нескольких для сравнения тел, душ, дум, духа, и духов, и вздохов, и охов, и ахов. И вдруг в духоте услад – тоска, как глоток свежего воз-

духа. Тогда разгонял всех, потом жалел, скучал, хотел вернуть, еще поиграть. Писал Хейде, Ильзе, Лизелотте, Кларе, которых едва помнил в лицо. А то и лиц не помнил, так, профиль, движенье, изгиб бедра. Немки мои не отвечали. Все ж увиделся кое с кем еще раз, но всё уже не то. Выпили по стопочке коньяку или виски, и наше вам с кисточкой. Я тебя никогда не забуду. . . А с Марией поговорил откровенно. Сказал – прости, что люблю тебя больше, чем нужно. Сделав этакий пируэт, продолжал свистопляску.

Еще была история с маршалом Соколовским. В одно прекрасное утро поехал маршал на службу. В западном секторе гнал все сто двадцать в час. Американский патруль, зеленые юнцы, только из дома – Оклахомы не то Вайоминга, – остановили и потребовали документы. Превышение скорости, на каком-де основании? Соколовский сперва отшучивался. Один молокосос, услышав фамилию и не разобрав чина, сказал: «Вы Соколовский? А я Сколковский. Вы, значит, тоже поляк?» Соколовский взбесился. Все союзное начальство делегировало меня к маршалу с извинениями. В генштабе Соколовский сухо поговорил со мной пять минут, потом всех из кабинета выслал. У него ко мне дело. Генерал товарищ Кривой все мне объяснит. Кривой похож был на Фрадкина. Горд, как вершитель славных дел, самоуверен, холодно-вежлив. Спросил, давно ли я в Берлине и на каком фронте воевал. У вас, говорю, мое личное дело, можете прочесть. Там все в подробностях, даже, наверно, прабабушкина девичья фамилия указана, которой лично я не знаю. Он ухмыльнулся. Шутка располагает к разговору по душам. Задушевность с долей очень небольшого, но приятного риска. Итак, советское командование намерено обновить войсковой состав и отправить на родину большое количество военнослужащих. Отслужили они достойно, но несколько тысяч солдат, увы, больны сифилисом. Что ж, победителей не судят. Однако по действующим законам они, как ни крути, подпадают под статью об измене родине. Законы, будем надеяться, смягчатся. А пока не смягчились, товарищ маршал Соколовский говорит, подлечить бы нам солдатиков! Короче: нет ли у меня пенициллина? Я отвечаю Кривому: спрошу у начальства. Мол, в медицине не смыслю, но знаю, что пенициллина нет в продаже ни во Франции, ни в Штатах. Ну и что ж, что нет, буркнул он, вы с вашими связями все можете достать. В Англии, например. Или лучше в британском штабе. Зачем шуметь на всю Европу. . . Надо, чтобы все было шито-крыто. Вручил мне подробный рецепт, написанный по-немецки. Сами, говорит, знаете, что делать, вы по черному рынку спец. Обещайте же. Давайте, давайте, соглашайтесь. И дает мне, как щедрый друг, целых двадцать минут на размышление. Чтоб легче было размышлять, угостил горячим чаем. Собственноручно налил мне стакан. Уверен, что помогу. Помогу ради правого дела, нашей общей победы над фашизмом. И к черту, мол, все разногласия. Всемогушество мое ударило мне в голову. Со смехом потребовал вторую рюмку водки. Кривой налил, подал кружок лимона. Что ж, говорю, я в каком-то смысле ваш пленник и должен действовать в ваших интересах. Тем более что интересы у вас – государственные. Сделаю, что могу, но за успех не ручаюсь. А я, говорит Кривой, ручаюсь. Скажите ваши условия. У меня, по его словам, коммерческий талант, и он якобы за ценой не постоит. Я про себя наскоро подсчитал: недели три-четыре на поиск, немного денег, несколько посредников, из гражданских, желательна берлинцев с родней в советской зоне, чтобы, случись что, иметь заложников, и более подробную справку о составе и дозах пенициллиновых инъекций и многих прочих подробностях, о которых не имею ни малейшего представления. Мне стало не по себе. Я криво улыбнулся, но намеренно дерзко стал разглагольствовать. Описал мужество и героизм американских, английских и французских войск. Они-де последнее отдают берлинцам, а у самих уже ни капли горячего. . . Кривой нетерпеливо оборвал: ладно, ладно, он и без меня это знает, знает, что в случае чего одной ихней части хватит, чтобы уничтожить все три наших сектора. «Блокада, – снисходительно заключил он, – оружие чисто политическое». Тогда я

взял и бухнул: сто литров вашего бензина за грамм нашего пенициллина. Генерал Кривой не колебался ни секунды. Радостно кинулся ко мне, до боли сжал мне обе руки, долго тряс. . . Да уж, уважил генерал, придется повкалывать.

Могла ли ты понять эту мою жадную и хищную суету? Во многом я был нечист на руку и волей-неволей привирал или помалкивал, потому что находился при исполнении. . . Сочинял тебе прибаутки с толикой, так сказать, героикомизма, воодушевления, пафоса, ну и так далее. И ты перестала причитать и скулить, сама ударилась в патетику. Я-де так поглощен работой! Не замечаю, какую бойню готовит Сталин! На носу Третья мировая! И я буду первой жертвой! У меня всего несколько недель, а может, дней. Пока не поздно, бери, сыночка, отставку, приезжай в Нью-Йорк и взрослей в нормальных условиях! Я тебе не отвечал, слал открытки – «жив-здоров». Мольбы не действуют, запугивания тоже – решила бить на совесть. К себе я могу относиться как угодно, но я не имею права плевать на тебя! А ты переживаешь за меня, и твое здоровье сильно ухудшилось. Теперь у тебя, чуть что, сразу сердечный приступ. А я со своим упрямством тебя совсем доканываю. Что делать, написал тебе несколько успокаивающих слов: ладно, мол, подумаю. Помудрствовал лукаво. Пойми, писал, у меня тут всюду, так сказать, свои уши, и я как никто знаю о намереньях русских. И пустился кормить соловья баснями. Блокада – частичка, Америка с Европой всё врут, газеты, из корысти, скандала ради, сгущают краски. Советская власть, заявил я тебе, – надежда человечества. Это Сталин с демократами все испортили. И в конце совсем успокоил. В случае, дескать, войны я тут же окажусь в плену и стану ценным заложником: можно обменять на посла или министра. И воевать не надо! Отсижусь, пока русские спикируют на Белфаст, Лиссабон и Севилью, а потом прогрохочут сапогами по всей Европе. Не знаю, поняла ты или нет, что уговоры бесполезны, – со мной где сядешь, там и слезешь. Во всяком случае, ты поутихла. Писать стала трезвей и суше. Никаких истерик-патетик. Просто, мол, приезжай поскорей.

А я занимался и важными делами. Выменял двадцать пять кило сала на Шагала 1909 года: зеленая изба, сиреневая крыша, звезды, летящий мужик и корова вверх ногами. Помог напечататься новичку Селану, пославшему мне стихи, потом, похлопотав, пристроил в толстый журнал первый рассказ молодого швейцарца Дюрренматга. Вызвал к себе в офис Фуртвенглера, посоветовал не играть Мендельсона. Оттого, говорю, что Гитлер запретил его, лучше он не станет. И напротив, прошу вас, не бойкотируйте Шостаковича только потому, что он коммунист. Исполняйте, Бог с ней, с блокадой. Фуртвенглера сменил было Сергиу Целибидаш: по-моему, неспособный и неискусный. Официальное его назначение я велел отсрочить. Еще одно дело: выкупил у Советов останки семнадцати американских и французских летчиков. Заплатил по пять тысяч долларов за тело. Сбили их в Прибалтике и наспех зарыли. Семьи потребовали выдачи. Груз получал я на старом, разрушенном вокзале в Трептове. В вагоне ожидали меня генералы. Красные ковры, кипа документов, школьные пеналы с перьевыми ручками и грязные чернильницы. Температура ниже нуля, чернила замерзли, мое перо сломалось о черную льдышку. Мы засмеялись хором. Смех разрядил напряжение. Соподписантам своим подарил я роскошную капиталистическую ватермановскую ручку. Каждый тем самым внакладе не остался.

Вдруг меня безумно полюбил глава польской военной миссии. Прочел какие-то мои стихи, нашел общих знакомых в Лондоне. Друзей у него нет, поэтому жаждет дружить со мной. А я не жажду. Но он то и дело зовет на коктейли и обеды. Владислав Борбек, сын литовского пана помещика, тип с гонором, на язык несдержан. Англичане, говорит, – лицемеры, французы – зануды, американцы – простаки, русские – изверги. Шесть-семь обедов – и Борбек расколосся. Оказывается, рвется на Запад, душой, и телом, и всеми потрохами. Воля лучше золотой клетки. Я сказал, что он не по адресу, я не двойной агент. И потом – будущее за коммуниз-

мом, а капитализм с его демократией обречен. А он: выдаете желаемое за действительное. Скажите хотя бы обо мне своим шефам. Буду, уверяет, служить верой и правдой. Только за отступничество наградите! Дайте хорошую должность в Вашингтоне или Оттаве. Мы с ним встречались еще несколько раз, в парке, в кино или в офицерском буфете в советском генштабе. Отводили, таким образом, подозрения, заметали следы. Аппетиты у Борбека оказались зверские. Он потребовал с помощью доверенных лиц перевезти семью из пяти человек, всю варшавскую мебель, фамильный фарфор и рыжего печального сенбернара. Не бегство, а просто какая-то международная перевозка. Я не одобрил его и даже обругал. Но делать нечего, мне на его счет четко было сказано: Борбек – это наш свадебный генерал. Что ж, бегство я ему подготовил, однако заявил: самолет забит до отказа. Его самого с детьми, мамашей, охотничьими сапогами и безделушками как-нибудь запихнем, а для песика, извините, места нет. Борбек – в амбицию. Что ж, говорю, или песик, или вы. Он сдался, и я велел ему прийти через час с собакой. Тогда, говорю, пан Борбек, после обеда вы взлетите в поднебесье. Он заволновался, спросил не сдам ли я его русским. Я не скрыл радости и сказал ему ласково, но очень членораздельно: «Да, вы заслуживаете отправиться на тот свет». Через час Борбек вернулся с собакой. Я дал ему таблетку цианистого калия и пирожок, сказал, чтоб сунул яд в тесто и скормил кабысдоху. Должно быть, мои слова прозвучали убедительно. Борбек взглянул на меня и тут же все сделал. Собака забила в корчах, сблевала и через несколько минут затихла. Тут я признался Борбеку, что психика погоды не делала, в самолете полно места. Он выгрузил блокадникам припасы и на три четверти пустой летит во Франкфурт. Но за предательство я жаждал смерти – не одной собаки, так другой.

После этого я проиграл уйму денег в покер, чтобы хоть как-то утешиться, а потом утешал пышногрудую Ингеборг. Полгода назад я бросил ее, но, видимо, немного поторопился. Утешал сердечно, потому что вернулся к ней ненадолго. Ах, эту кожу, эти бедра, эти ласки забыть нельзя! – говорил я с несвойственным мне исступлением. . . И тут вдруг ты. Опять взялась за старое пуще прежнего, что ни день, то письмо: вернись да вернись. И – оказалась вдруг как нельзя кстати: я и сам задумался об отъезде. Наконец написал тебе нежное письмо. Да, хорошо, ты права, блокада расшатала мне нервы, спасибо за совет, будь по-твоему. В ближайшие недели приведу дела в порядок, найду себе замену и отбуду в Париж. Учиться собираюсь именно там. Потерпи, писал, еще немного. Блокада, все видят, ничего не дает, ее скоро снимут. Письмо не было отпиской. Мне действительно наскучил весь этот балаган, и меня притягивала литература. А Марии я обещал, что жить будем вместе и, возможно, поженемся. Попросил ее поехать во Францию, устроиться и ждать меня: приеду самое большее через год. Пожил я жизнью довоенной, военной и послевоенной. Хочу жить наконец просто мирной.



## Нью-Йорк, октябрь 1957

Я приехал из Торонто и собрался в Виргинию; на побывку – два дня. Явлю, решил, образец сыновней любви, сорок восемь часов как-нибудь выдержу. Сперва мы взволнованно молчали или говорили односложно, чтобы – не всё сразу. Мол, живем-поживаем: ты – хорошо, отец – прекрасно, я тоже в порядке. Откровенны, счастливы. Тревоги и вопросы – после. А может, и никогда, может, обойдемся. Просто насладимся встречей, лениво, блаженно. Обменялись подарками. Тебе я привез халат от Шанель, а отцу шарф от Ланвена, полушерсть, полушелк. А мне от тебя – сюрприз: мой собственный бюст, отлитый тобой в бронзе. Трудилась много недель. Вообще-то сходство ты схватывала легко, но надо мной промучилась долго. Мне не понравилось – не похоже, невыразительно. Все же безумно хвалил и благодарил. С корабля на бал, после легкого закусона позвал тебя в кино. Хотел сразу отгородиться ширмой. А чем не ширма – экран? Отец говорит – конечно, идите. Я предложил на выбор: Гиннесс или Гаррисон. Умных фильмов ты не любила, трагедий тоже. Английская развлекаловка была в самый раз, тем более нам на радостях. Назавтра отец работал, а мы в десять утра рванули в монастыри. Восхищались красками золотой осени. Я скорее – в лирику. Осенней порой прекрасна Новая Англия. Живописны клены в багрянце Делакура, зелени венецианцев и охре Ван Дейка. Говорил я с расчетом: надеялся, что «художественные» разговоры, поведут нас в музей-галерею. Я не замолкал и у каталонских распятий. Католицизм, витийствовал я, породил во второй трети XI века вдохновенно-восторженное, поразительное и неподражаемое народное творчество. Этим деревянным изваяниям не было и нет равных. Попутно ругнул греческую скульптуру, которую ненавидел, и заодно ренессансную, за показуху. Не пощадил и Микеланджело с Донателло.

С небес на землю спустился я как бы с неохотой. А как, кстати, твои занятия с Архипенко? Хватает ли отцовых денег на резцы и глину? Если нет, могу дать. Отольешь в бронзе свое самое лучшее. Может, в Европе есть материалы помягче? Скажи, не стесняйся, пришлю с великой радостью. Тут последний лед, если и был, растаял. Обсудили современную скульптуру, дали всем оценки, поспорили о вкусах. Днем наскоро пообедали у Рубина на 58-й улице. Съели поджаренные булочки с копченой колбаской, кислой капусткой и моей любимой моцареллой. Ухватился за гастрономическую тему, ускользя от личной. Культура еды, изрек я, показатель общей культуры. В мельчайших подробностях описал тебе, чем кормят у Пойнта в Вене и у Гордона в Балтиморе. О лучших французских ресторанах не скажу – не знаю, бываю редко, предпочитаю штатские, особенно рыбные, с креветками, омарами с Аляски и лангустами, фаршированными моллюсками... Ну, пора и о высоком. Двинули на 54-ю, в Музей современного искусства.

Твои живописные пристрастия – разумеется, Архипенко и все, кто в 20-х годах на него были похожи. Но Майоль и Деспьо тебе тоже дороги, а вот Бранкузи и Певзнер – нет. Из

чего рассудил я об искусстве и женщинах так: вы, сказал я тебе, на дух не выносите абстракции, она для вас – патология, вам подавай детишек, людишек, деревья, закаты. Под конец экскурсии я приобщил тебя к красотам Мора и Чедвика. Потом сообщил о Сезаре и Эпустеги: французские скульпторы, весьма талантливы, но Нью-Йорк, мол, их еще не приобрел, так что пришлю тебе их альбомы всенепременно, такой большой скульптор, как ты, обязан быть в курсе. Вернулись домой, мы вздремнули, и я повел тебя на концерт. Ну, как тебе Гилельс? Достоин ли твоих любимых Гизекинга и Горовица? Итак, от скульптуры мы перешли к музыке. Тема тоже безопасная, позволяет поговорить бесстыдно-чувствительно-неопределенно о Перселле, а также Дебюсси, Гайдне, Берлиозе, Сметане, Бизе, Равеле, Перголези тож. Мы сошлись в одних мнениях и разошлись в других. Ты презирала Эрика Сати, а я не считал за композиторов Рамо и Пуччини. До ужина продолжалась жаркая битва. Ужинали в полночь, втроем с отцом, ели холодное мясо. Ты выложились вся. И волки сыты, и овцы целы. Я продемонстрировал идеал сыновней любви: поговорив по верхам, а не по существу и подменив безличным личное, счастливо избегнул ссор.

Второй день был потрудней. Решили отправиться в музеи. Сперва пошли в Уитни. Ты просила назвать хороших американских художников. Не знаю таких. Ладно, может, Аршил Горки – еще туда-сюда, а вот Поллак и Мазеруэлл – ни в какие ворота. Я слишком ценю чувство меры, а в ихней стихийной мазне мерой и не пахнет. Мне сорок. То ли постарел я и отстал от авангарда, то ли, сам того не зная, я вообще – реакционер. Слегка на тебя раздражился. И, уже приуныв, созерцали мы Боннара, Макса Эрнста, Купку, Фейнингера. Я изображал восхищение, восторженно ахал и охал. Вчерашнего искреннего чувства и след простыл. Ты захотела вернуться пораньше. Дескать, скоро мне ехать. Занервничала, спросила о моих литературных трудах. Но ответа ждать не стала, а сделала заявление. Была во мне искра Божья пять лет назад. И начал я за здравие, а кончил за упокой. Потому что не пишу, а разъезжаю по белу свету. Читаю лекции, веду семинары, ни дать ни взять торговец культурой. Довольно лестно, но малость и унизительно. Я, как бы сокрушаясь, ответил, что жизнь мне такая нравится, нравится знакомиться с полезными людьми, заводить связи и вообще смотреть мир. Задарма скатался в Мексику, Андалусию, Марокко, Австрию, исколесил французскую глубинку. А для тебя ясно одно: я несчастлив. Пришлось удариться в философию. А что такое, собственно, счастье? Только что царил экзистенциализм, отношение было к жизни как к безнадеге. Оглянуться не успели, как абсурд глядит в глаза. И жизнь, стало быть, – чушь и бессмыслица, а не чушь и не бессмыслица – только атомная угроза. Я увлекся и заговорил о Хиросиме, сказал, что это второе грехопадение человечества. Теперь уже хватит одного Ландрю, Распутина или Гитлера – и земля разлетится ко всем чертям. Короче, шарик наш – хлопушка малыша-хулигана.

Ты разбушевалась. Ежели мне на себя плевать, то тебе – нет, и ты в меру своих возможностей обо мне позаботишься. Париж явно не для меня. Я размениваюсь, расходуюсь по пустякам. А образование у меня прекрасное. В американских университетах я – всегда желанный гость. Стало быть, мне следует обосноваться рядом с вами. Во-первых, смогу навешать тебя хотя бы раз в месяц, во-вторых, заживу жизнью гораздо более здоровой и разумной. А Франция кончит плохо: меняет правительства, как перчатки. Я слушал тебя уже спокойно и ответил коротко. Что человек я без предрассудков, что родины у меня нет. Значит, моя родина – страна моего языка. А язык в последние годы выбрали за меня книги. . . Однако, думаю, осторожно! В этот приезд я – идеальный сын! Потому закончил так: найду достойную работу в Штатах – возможно, приеду. Человек с возрастом меняется. Покуражится, шишки набьет, смирится, остепенится. . . Словом, обнадежил. Ты не могла нарадоваться. Умница у тебя сыночка. Найдешь ему подходящее занятие – прилетит к тебе под крылышко. Ну вот

и о серьезном поговорили. Можно опять беседовать об изобразительных средствах и зрительных образах. Сюда, Пикассо, Таити, Дерен и Кокошка! Искусство, оказалось, делу не помеха. Окунулись, погрузились в прекрасное, омылись, освежились и вновь любили друг друга и понимали. Ты сказала мне почти нежно, что терпеть не можешь мою жену, а я тебя заверил, что совершенства в мире нет, а люди порой меняются к лучшему. Поощренная, ты осмелела. Жenuшка моя, видать, хороша в постели, что ж, на год, от силы два мне этого хватит. А потом уж нет. Я промолчал. Тогда ты под большим секретом поведала, что знаешь хорошеньких. . . образованных, воспитанных, как раз для меня. Я расхохотался и сказал как ни в чем не бывало: давай, мол, я не прочь. Мы расстались как горячо любящие мать и сын. Не придерешься.

## Париж, февраль, 1977

Я стою на углу Боске и Гренель и думаю: что принести тебе? Торт с твоим любимым миндалем, трюфели или фрукты? Позавчера ты восхищалась лиловой глоксинией в горшке. Цветы, наверно, еще не отцвели. Моросит, верх Эйфелевой башни застлало. Отсюда до нее рукой подать. Обозрел витрины, решил взять фрукты. В магазине подошел было к киви, но нет, уже сморщились. Мексиканская клубника тоже подвяла, к тому же, кажется, незрелая. Выбрал ананас. Настоящее произведение искусства. Ухватил его за вихры, унес прямо так, без пакета. Еду в лифте – в голове каша. Дописать статью о Гомбровиче, зайти в «Монд», подготовить передачу о молодых канадских поэтах, сходить к зубному. Ты, тьфу-тьфу, ничего, вчера утром даже прогулялась до своей скамейки, врач сказал, что состояние не хуже, чем на прошлой неделе. Открыла твоя хозяйка. Всплеснув руками, сказала:

– Два часа вам звоню, ищу вас. Ваша мама умерла.

Снимаю пальто и отдаю ей ананас – мол, он ваш, унесите на кухню. Что делать дальше? Пойти в конец коридора к тебе в комнату или сесть в кресло и пощупать себе пульс? Так. Что я чувствую? Боль в горле и решимость не психовать. Далее, по размышлении зрелом, некоторое облегчение, потому что страдала ты, по всей видимости, недолго. Я опускаюсь в кресло. Хозяйка деликатно удаляется в соседнюю комнату. Продолжаю размышлять зрело. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. Думать только о себе. Собраться с силами. Умерить эмоции. Понять: случилось то, что должно было случиться. И случилось примерно так, как я еще накануне себе представлял. Расслабляюсь. Расслабиться можно, нужно и должно. К тебе войду через пятнадцать минут. Тихо, мсье, без паники. Я спокоен, я совершенно спокоен.

Спускаюсь к твоему доктору. Он живет тут же, двумя этажами ниже. Открыл тотчас. Примостился за столом – рядом стетоскоп – и пишет свидетельство о смерти, бормоча:

– Ничего нельзя было сделать. . . общее состояние. . . слабое сердце. . .

Спрашиваю, сколько я ему должен. Он неопределенно махнул рукой, шепчет:

– Что вы, что вы!

Иду назад и звоню Марии. Она не вернулась из магазина. Ну и к лучшему. Говорить сейчас ни о чем не хочу. Звоню в похоронное бюро. Старательно-грустный голос отвечает и торжественно-медленно повторяет адрес. В семь сорок пять придет серьезный знающий человек и расскажет, что надо делать. Жалею себя, утешаю и хвалю: молодец, панике не поддался. Пора идти смотреть на тебя. Первый лик смерти. Лоб слишком гладкий. Веки мятые, синеватые. Губы чуть напряжены, словно хотели улыбнуться, но не успели. Нос заострен, подбородок выровнялся – отвислость исчезла. Из рукавов голубого капота видны сведенные судорогой пальцы. Худые ноги и вовсе словно чужие. Будто вообще и не двигались никогда. Что чувствую, сам не знаю. Надо бы, думаю, разволноваться, чтобы или я поборол волнение,

или оно меня. Наверно, надо поцеловать тебя в лоб. Или сесть и в нескольких секундах прочувствовать грусть вечности. Просто подошел, погладил руку. Обойдемся без жестов. Что теперь возьмет верх? Покой? Пустота? Легкость? Страдание? Страдать – не страдаю и не удивляюсь этому.

Вошла хозяйка. Спрашиваю с робостью, она отвечает отрывисто, лаконично. Проснулась ты поздно. Ломит, сказала, грудь и руки. Есть отказалась наотрез, выпила глоток чая. Чашку еле держала и почти сразу же попросила позвонить врачу. У него прием, но он обещал на минутку заглянуть. Спокойно лежала ты недолго. Забилась, как в ознобе, впила руками куда-то в ключицы, стала задыхаться. Прохрипела какие-то слова, по-французски и по-русски. Врач пришел со шприцем, но колоть не стал. Ты дернулась в последний раз и вытянулась. Врач сказал: конец. Вдвоем они подтянули тебя на подушку. . . Я молчу. Где-то очень глубоко во мне смутное чувство вины: почему не слышал последнего слова, почему не видел последнего взгляда? Я должен был запомнить их навеки. Преступен любой неприход, мой тем более. Тихо, никаких угрызений! Я помню: спокойствие и только спокойствие. Сейчас хорошо бы пройтись пешком. Улица – отличная терапия. Пожимаю руку хозяйки, приношу извинения за причиненные беспокойства и отправляюсь в мэрию оформлять документы. Подписываю бланк. Ну вот, горе и оприходовано. «Республика» в бронзе – тому свидетель. Я свободен. Чиновница мурлычет мотивчик Беко. Сказала, что сообщит медэксперту и что разрешение на захоронение передадут в похоронное бюро. Ты записана, пронумерована, вложена. Я не возражаю.

Агент – человек любезный и не слишком мрачный. Пришел с соболезнованиями и бумагой, которую проворно заполняет, пока беседуем. Рассматриваю большие фотографии гробов, выбираю. Остановился на суровом, пышноватом, с завитушками и резными ручками. Ничего, самое страшное позади. Ящик как ящик, не дешевый, не дорогой. Внутри можно шелк, можно бархат. Цвет обивки – пора жизни. Белый – девство, голубой – детство, красный – зрелость, лиловый – старость. Красный выглядит хорошо, хотя немного и странно. В последний момент прошу убрать распятие. В Бога ты не верила, а если, изредка, случайно, и верила, то не молилась. Агент вычеркивает триста франков – стоимость стального Спасителя. Завтра тебя положат в гроб. Приду ли я? Конечно. Только приходите после всего. Зрелище тяжелое, смотреть лучше, когда уже в гробу. И последнее: цветы и сопровождение. Спрашиваю, сколько цветов положить на могилу? Отвечает:

– На пятьсот франков как минимум.

Говорю – пусть будет на две тысячи.

Он восклицает:

– Хорошо!

Хорошо, даже прекрасно, что на тебе будет целая клумба. Подписываю счет. Нет-нет, заплатить можно потом. В кредит они дадут охотно. Укажите только номер банковского счета. Предлагаю коньяку. Агент восхищен моей выдержкой. Да, работа у него не из радостных. О социальных льготах, отпуске, семье не спрашиваю. Общение у нас деликатное и официальное.

Только за ужином, поедая мясо, сказал Марии:

– Мать умерла.

Она – ко мне, хотела погладить. Я оттолкнул. Мои собственные слова потрясли меня больше, чем твоя смерть. Форма выявила суть. Стал есть дальше, чуть медленней. Мария не знает, как вести себя. Я смотрю на нее с холодной враждебностью. Капитал моей любви принадлежал ей на три четверти или даже почти целиком. Остаток – тебе. Отныне всё – ей. Она – полноправная хозяйка. Ничего обсуждать не желаю. Похороны через два дня. Хоронить со мной пойдет. Всё. Мария спросила, буду ли есть сладкое. Почему не буду, буду. Иду к

письменному столу и с удовольствием сажусь к чепуховым, даже мерзким, бумажкам. Около одиннадцати поставил пластинку Баха. Отвратительно: строго и однообразно. Поставлю Бетховена или Малера. Авось романтики разбередят и освежат. Нет. Я по-прежнему туп и мрачен, без позы. Как-то буду спать ночью? Выдержат ли нервы до похорон? Думай, думай о себе! Мария мне не нужна. Смерть матери надо переживать в одиночестве, как пророк на столпе, или слившись с толпой, растворившись в ней. Выпил две таблетки снотворного. На рассвете подействуют, часа четыре все же посплю.

На другой день все как обычно – просмотреть почту, послушать радио, закончить статью, сходить в редакцию. Продиктовал Марии пяток писем дальней родне, двум твоим племянникам, нескольким друзьям детства. Каждому сообщаю, как ты его любила и как часто вспоминала. В конце пишу: перед смертью не мучилась, умерла легко. Позвонил твоим парижским знакомым числом шесть. Нюни, скулеж, причитания. Решаю: к черту, на похороны старье не пушу, пойду один. Хочу даже не пустить и Марию. Вы не ладили, стало быть, нечего и прощаться. Но нет, не пустить нельзя. Все мое ношу с собой, плохое тоже. Главное, чтоб мне плохо не было. Суечусь, развожу ненужную бурную деятельность, подвожу некоторые итоги. Выходит, скончаться скоростижно – дешевле, чем сыграть в ящик после долгой и продолжительной болезни. Конец, когда неотвратим и ожидаем, – не то горе, не то... счастье. Но себя не оправдываю – я негодяи и пошляк. От совести не уйти. Гони ее в дверь, она войдет в окно. Я дисциплинирован и слаб, но дисциплина во мне – сильнее слабости. В первой половине дня те же бред и нервы, что и накануне. Твою смерть я еще не осознал. Тешусь всякими умствованиями. Вечером беспокойно. Повел Марию в шумную, с музыкой, кафешку. Как не отпраздновать чудо, что сами пока живы!

И вот я смотрю на тебя в последний раз. Лицо подкрашено. Лежишь в гробу, видна одна голова – неподвижная и нездешняя, как скульптура из полупрозрачного камня. Этот миг длится и длится... Спасибо векам прозаически-морализаторским. Сделали его, видите ли, символом сосредоточенности и благоговения! Не желаю быть, как все. Думаю о себе. Да о себе, потому что передо мной не ты, а пустая оболочка, может, даже кукла или обман зрения стараньями фокусника. А вот Мария, агент, квартирная хозяйка – они как все, и мне стыдно за них. Я отхожу в сторонку. Сейчас гроб заколотят. Иду по улице. Живительный холод. Витрины живут дольше людей. Подхожу к овощному магазину, люблюсь, как тогда, ананасами. Может, опять взять? С фруктом приятней иметь дело, чем с человеком. Гроб в черной труповозке. Идет прохожий, приподнял шляпу. Подойти бы и спросить: перед люлькой с младенцем вы тоже шляпу долой? Нет? А зря. Рассвет лучше сумерек. Розы красивы, как раны. Мы с Марией садимся в машину с дымчатыми стеклами. Париж – такой же, как всегда. Впрочем, с какой стати – не как всегда? Думаю о могиле и о том, как я о ней думаю. Как усталый больной сердечник. Пятьдесят все-таки. Мария молодец, молчит как рыба. Южный парижский пригород сер и грязен. Вот и кладбище. Местные люди сменяют друг друга, как заводские рабочие: сойдутся, пожмут руки, перекинутся парой слов, одни бодро уйдут, другие вяло останутся. Невеселые, незнакомые и необходимые. Я уважаю их больше, чем мы с тобой друг друга. Между вырытой ямкой и насыпанной горкой земли – дощечка. На ней твоя фамилия красивыми буквами. Хотел было пригласить священника. Но нет... Хороним просто, скромно, почти тайком. А поп гнусавыми словесами все испортил бы. Гроб опускается на веревках. Могильщики по пояс голые. Простудятся как пить дать, февраль – время коварное. Мне протягивают розу, но я прячусь за Марию. Пусть отдувается за меня. Вынимаю из кармана листок со стихами, которые написал утром, тебе. Сейчас брошу на гроб вместо сакраментального цветка. Подумал-подумал и сунул назад в карман. Кому и что я хочу доказать? Поскромней надо быть. Оборвал лепесток, бросил в яму. Тьфу, что за тягомотина!

Бросил цветок целиком. Мне дают квитанцию: свидетельство о захоронении, как положено. Я раздаю чаевые. В машине по дороге в город говорю Марии раздраженно:

– Извини, но горем я не убит.

Твоя могила – в этой книге и больше нигде. Все меньше осталось людей, знавших тебя. Повторяю: иных уж нет, а те... У гроба играет младая жизнь. События, разговоры, слова всплывают, чередуются, оставляют пробелы... И являют тебя. У жизни написанной свои законы, совсем не те, что у прожитой. Только что, с полгода, прожил я бок о бок с тобой. Прожил пером и пишущей машинкой. Насыщенно до невыносимости. В полгода вместил полвека сыновней любви, и ненависти, и лени, и безумства, то вперемежку, то вперемешку. И вот явилась ты, как отражение. Потому что не тело это твое, не душа. Так, кусочки, выданные мной читателям. А читатели, наверно, со скуки или смеха ради, кусочки эти соберут. Прежде ты была настоящей, из плоти и крови, теперь же – пустой звук. Интересно, сохранил ли я хоть что-нибудь? Скорей, подправил, подладил под самого себя, под свой ритм, привычки или же изменил по воле стихии, то послушной, то губительной. И стоп, машина! Хватит припоминать, вглядываться в себя, додумывать, дорисовывать. С тобой я расстался. Может, и заскучаю по тебе однажды грустным вечером, но клянчить милости у капризной памяти не стану. Просто открою книгу: пожалуйста, твое прошлое, верней, наше с тобой – тут как тут. Где сон, где явь, почти не видать. А теперь я и сам с каждым месяцем, днем, часом, словом все ближе к старости. Умерла ты. Умирает и эта книга. Потому что кончаю ее и не желаю добавлять ничего больше – ни новых страниц, ни новых страстей, ни новых страданий. Приговор вынесен и обжалованью не подлежит.

Писательство – потребность физическая. Понял я это, думая и думая о тебе. Как отделаться от тебя? Как пиявку ведь не стряхнешь. Вот и справился с тобой, превратил тебя в книжную героиню. Так что же я, спрашивается, утихомирил? Ненужный пыл или угрызения совести? Сам не знаю. Не были мы ни я хорошим сыном, ни ты хорошей матерью. От двух мук никак не могли избавиться: одна – что живем далеко друг от друга, другая – что, живи еще дальше, любили б сильнее. Крут я с тобой, что и говорить, сюсюкать не люблю. На письме тоже. Ни соплей, ни платочков, ни бьющихся сердец! И паниковать, кончив книгу, не стану. Что написал, то написал. Приписывать, приукрашивать, чтобы ты понравилась? Нет уж, увольте. Антипатия, пожалуй, лучше симпатии. Расквитался я с тобой. Выдал тебя всякую – вольную, и невольную, и робкую, и смелую, и властную. Остаток – мне, как сдача, как сувенир на память. На память оставлю и словечки твои, такие изречения. То и дело словно слышу: «В Бога я не верю, вместо Бога боготворю мужа, с тех пор как умер», «Мать после смерти всегда права, потом сам поймешь», «Понимать – хорошо, любить – еще лучше, потому что, любя, отдаешь себя», «Не ругай себя, сыночка, от тебя мне все в радость, ведь ты – мой сыночка». Видишь, написал пером – не вырубить топором. Только на то и гожусь. А телячьи нежности – уж извини.

## Одесса, лето 1918

Один из эпизодов твоей жизни – жизни до меня, представлял я понаслышке, неполно и неопределенно. Пришлось собирать с миру по нитке. Твой отец, и мой отец, и дядя Арман, и дядя Миша, рассказывая, расхваливали тебя все как один. В тот год Одесса более восьми раз переходила из рук в руки. Красные дуриком захватили, потом взяли белые, потом сдали. Кому сдали, скоро стало непонятно. Красные сшиблись с зелеными: комиссары и Петлюра по-разному представляли себе светлое будущее России. В драку с большевиками полезла Европа, к Одессе подошли немцы и хоть ненадолго, но город заняли. Время было массовых казней. Скажешь: Деникин, Корнилов – получишь пулю в лоб. Скажешь: Ленин, Троцкий, Каменев – в затылок. Одесситы отвернулись и от тех, и от этих, молчали себе, ухмыляясь. Потому что знали: все эти адмиралтейские халифы на час одним миром мазаны, все – кровопуски. И пошел в городе пир во время чумы. Что ни день, то смена власти, порт в лихорадке, по временам постреливают. К стрельбе народ привык и ухом не ведет. Вспрыскивает очередную, так сказать, победу, вино и квас льются рекой. А новаторы строят новый мир не только в политике. На литературных посиделках заговорили, в числе прочих Ахматова и Бабель, о новой поэзии и даже о новом языке. Сплошь и рядом цитируют Хлебникова. А ты с месяц уже замужем за моим отцом. Ты тоже встала на защиту нового – футуризма, акмеизма. Несколько раз поднимается на трибуну отец. В пику всякому оригинальничанью защищает просто поэзию, искусство для искусства. Признается в любви к символизму, исконному, взятому Бальмонтом у Рембо с Малларме.

Отец вел себя неосторожно. А большевики, Одессу тем временем снова взяв, изловчились и удержали ее. И принялись наводить порядок. ГПУ обложило чуть не каждый дом, выслеживая недавних весельчаков. Литературные собрания расползлись по другим адресам и притихли, а скоро и вовсе прикрылись из страха перед доносом. Крамола была в жизни, в политике – в литературе тоже. Рискуя головой, ты, однако, устраивала вечера у себя. На вечерах – читка, бурное обсуждение. Литманифесты зычны, как военный клич. Отец собрал старые стихи, вдобавок за это время написал кучу новых – как раз набралось на сборник. Дал на прочтение друзьям. Друзья хвалили, и даже очень. Сборник назывался «Рассеянная жатва». Мелкий тамошний издатель взялся его напечатать. Тем временем красные, на славу побесившись и покуражившись, город сдали снова. И снова – зеленые. Эти мстили в основном бедноте. Покрушили и пограбили в бедных районах, объявив, что тамошний товар, и зерно, и уголь – тоже попорчены красной заразой. Насытив гнев, зеленые пустились в загул. А красные тем временем не дремали. Через месяц явились и выгнали загульщиков в два счета. И на сей раз брали всех – просто старорежимных, просто обывателей. Отец – из их числа. У него был дом, а у родителей его, как все знали, – деньги. Но отец сел в тюрьму с чистой совестью: новой власти он сочувствовал и на людях в последнее время ничего такого не говорил.



Однако ты быстро поняла что к чему. Кинулась в бывшую полицию – ничего не доби- лась, управу осаждала с тем же успехом: там заняты ранеными и умирающими. Впрочем, сам губернатор – в бегах. И ты пошла другим путем. Бросилась к издателю. Тот – вилять. С бумагой, дескать, туго, цены растут не по дням, а по часам. Все же заставила его поклясться, что через неделю книга выйдет. Надбавка за срочность – вчетверо против прежней цены. Времени нельзя терять ни секунды. У Армана школьный товарищ служил в новой милиции. Хорошо, пригодится. Но сперва нацепила обноски, ни дать ни взять бедная курсисточка, и – в местную партячейку. Ихнему комиссару предлагаешь свои колечки-сережки, говоришь – желаешь служить делу революции. Комиссар сомневается: какие, дескать, тому доказатель- ства? Доказательства, отвечаешь, такие, что твой папа, торговец кожами, начал как простой сапожник, и тяжелый труд тебе тоже знаком, и могу, говоришь, трудиться у вас кухаркой. А он: ладно, подумаем. Но, говорит, освободить вашего мужа вправе только начальство. А ты: но Сашеньку взяли ни за что, он сочувствующий, всей и вины-то – что не сразу понял великое дело революции! Ты распалилась, кричала, бушевала, а изъяснялась, как барышня прошлого века. Комиссар развеселился, спросил, на все ль для мужа готова. Ты перепугалась и бежать. Прибежала к братнину однокашнику, милиционеру, чудом отысканному. Встретились с ним на старой мыловарне. Он нацарапал на бумажке фамилию местного гэпэушника Червенко, который тогда правил бал. Ты опять к издателю. Тот сделал, как обещал: «Рассеянная жатва» выходила из типографии на другой день. Ты: дорогой мой, подождите с выходом несколько часов. Он посмотрел удивленно. Ты: да, да, подождите, вопрос жизни и смерти! И – опять к Червенко. А Червенко как раз доволен: только что расстрелял кучку врагов народа. А я вас, говорит, знаю: водил дружбу с вашим брательником в трудные годы. Спросил, сколько тебе лет. Было тебе тридцать, а выглядела на восемнадцать. Но, заявил Червенко, строить куры он тебе не будет, хоть и красotka ты писаная. Любовь, мадам, – революции помеха. Достал личное дело Биска, раскрыл, прочел презрительно:

– «Буржуй, сын буржуя». . . И это, по-вашему, тьфу?

Ты длинно и путано стала объяснять: одни, как он, Червенко, строят новую жизнь, другие же, как твой Биск, – новую литературу, поэзию, образ мыслей, все, что самое у народа ценное. . . А Червенко на это: ладно, приходите завтра, но ничего не обещаю.

Завтра было бурным. Червенко тоже человек грамотный, но ведь он-то вместе с трудовым народом, а Биск таскается по разным квартирам и читает не наших поэтов, а поэтишки эти пишут не о серпе и молоте, а о птичках и цветочках. А он, Червенко, тоже, между прочим, поэт. Брательник твой Арман помнит его стихи: прочь старый мир, ура, революционный! И тут тебя осенило: поэты никогда не убивают друг друга, не было такого в истории! А вину отца, в общем, ты берешь на себя – мол, недоглядела. Честью просишь, пожалуйста, отпустите мужа! А ты уж постарайся, уж наставишь его на путь истинный! А Сашечка, вам жизнью обязанный, стало быть, из одной благодарности будет красным! Червенко глянул на тебя. В глазах его – странная смесь восхищения и презрения. А ты: в городе то беляки, то Петлюра, ну зачем вам поэт, тем более – почти уж свой. Червенко колебался. Ага, думаешь, нашла- таки уязвимое место. Нажала еще: рассказала, что бывали у отца и Маяковский, и Есенин, и другие поэты – друзья коммунистов. Наплела с три короба и впервые поняла, что гэпэушник этот, кажется, дурак. Наконец он сказал:

– Смешная ты, буржуйка недобитая. Приходи завтра.

Ты бросилась к издателю. На пятой странице вместо посвящения тебе, умоляешь, позарез нужно напечатать: «Боевому товарищу Косте Червенко». Сказала и сама испугалась! Нет-нет, не на всех экземплярах, только, скажем, на пятидесяти! На остальных можно оставить тебя. Сказано – сделано, в несколько часов. Осталась только брошюровка. Еще, значит, два дня.

Третья встреча с Червенко закончилась неудачно. Червенко не в духе. Может, думаешь, получил нагоняй от начальников. В такой неразберихе, наверно, какой-нибудь зверь-комиссар зверствами своими переплюнул его. Сказать вам особо нечего, но, по всей видимости, ему приятно с тобой беседовать: тратит на тебя драгоценное время, угощает чаем, разглагольствует, бахвалится, что, мол, царь я и бог. Червенко размещает заложников по тюрьмам, сдает их своим подонкам-подчиненным. Ты осмелела и прочла ему отцовы стихи о любви к родине. Он живо встрепенулся. Да, он тоже любит родину, но не жалкую, нищую, пьяную и глупую, а ту, какую очень скоро построит он с товарищами. А ты вдруг крикнула: отпустите же отца! Червенко молчал. Хороший знак! Тут ты не выдержала и сподличала. Ежели жаждете Бисковой крови, берите братьев, Бисков-младших, Михаила с Георгием. . . Червенко посмотрел строго, и ты спохватилась, осеклась. А он, в свой черед, захотел исповедаться, поделиться сомнениями, излить душу. Он-то знает, за что борется. Но в царство справедливости без террора и лишений не войти. Так что диктатура пролетариата – мера неизбежная. Говорил он горячо, но туманно. Этаким реалист-романтик. Закончил внезапно и резко:

– Придешь послезавтра в пять утра. Сходим вместе к твоему писаке. Он у меня тут, в подвале.

Следующие двадцать четыре часа ты с ума сходила от радости. Побежала к издателю с охапкой гладиолусов. Издатель выдал тебе первые экземпляры «Жатвы». Просил подождать, не листать сразу, так как клей не подсох. Ждала за скрипкой, Вьетан и Паганини составили тебе компанию. И ты превзошла себя. Подумала даже, что станешь настоящей скрипачкой-виртуозкой. Замечталась: у тебя куча детей, все знаменитости, одни – художники, другие – адвокаты. Весь день была счастлива беспричинно. Деревья тебе кивали, небо улыбалось, корабли в порту манили в неведомые страны. Прохожие казались легки, взлетали воздушными шариками, солдаты сияли, словно на штыках у них розы, лавки будто бы полны безделушек, мостовые звонки под копытами нахлестываемых молодых кобылок, милицейские бригады добры, как свежееиспеченный хлеб, а море глубже отражения – блещущих звездных небес. Ты выпила сладкого ликеру и спать не ложилась вовсе. Собрала один чемодан, потом другой, сложив туда и вещи отца. В назначенный час ты опять у Червенко. А тот ходит из угла в угол, матерится, нечесаный, гимнастерка расстегнута. Не кончил здесь всех дел, а его бросают в Курск, на борьбу с контрой. Тебя он насилу вспомнил. Ну что явилась ни свет ни заря? Ты в слезы, робко протянула отцову книгу. Прочел посвящение, пожал плечами, прошептал:

– Дура ты буржуйская, в расход бы тебя вместе с ним. . .

Ты опустила на стул, уткнула лицо в платок. Он подошел и сказал:

– Сохраню, что ль, на память. Чушь несусветная, а все ж в мою честь. Только хранить-то недолго. Такие, как я, скоро погибают, на баррикадах или на поле боя. – Поймал твой взгляд, полный слез, боли, надежды, и пробормотал, точно думал вслух: – К стенке бы вас всех, и баста.

Потом схватил тебя за руку, достал из ящика связку здоровенных ключей и пошел с тобой к лестнице, ведущей вниз. В подвале, с револьвером в руке, в присутствии охранника отпер камеру, где сидели отец и еще двенадцать заключенных. Миг – и вы на лестнице. Он ткнул отца в ребра, открыл дверь, с виду заколоченную. Пройдя по улице сто метров, отец раскрыл книгу на странице с посвящением Червенко. Объяснять было незачем. Ты просто сказала:

– До двенадцати мы должны уехать из города.

Это был твой звездный час.

*Париж,  
20 июня – 31 августа 1977 года*

«Я – всего лишь запятая, а вы отгадайте текст. . . »

Роман «Русская мать» – первое знакомство нашего читателя с прозой Алена Боске, замечательного французского поэта, прозаика, эссеиста, литературного критика, искусствоведа, президента Академии Малларме.

Ален Боске (Анатолий Биск) родился в 1919 году в Одессе, однако красный террор обрек семью будущего писателя на изгнание. И начались скитания по Европе: Болгария, Бельгия, Франция. . .

– Я проиграл Вторую мировую войну дважды, – рассказывал мне Ален Боске. – Сначала в Бельгии, где я жил с родителями. Тогда я перебрался во Францию, вступил во французскую армию и проиграл войну во второй раз.

А.Боске эмигрировал в Англию и возвратился во Францию в 1944 году, в составе американских войск, высадившихся в Нормандии. После окончания войны он несколько лет преподавал французскую литературу в Соединенных Штатах, а затем окончательно обосновался во Франции.

Скитания по миру не вытеснили Россию из сердца Алена Боске. По его собственному признанию, она всегда оставалась для него далекой родиной. Писатель не забывал родного языка, языка своего детства, и радовался каждому общению с Россией. Наши поэты и переводчики были постоянными гостями в его доме, по-русски гостеприимном и хлебосольном.

Стихам Боске повезло в нашей стране больше, чем его прозе, – они дважды выходили отдельными сборниками (в 1984 и 1994 гг.).

Поэзия была для него не увлечением молодости, ремеслом или одной из творческих ипостасей, а страстью и способом существования. «Поэзия доставляет мне самое большое удовольствие, – признавался Ален Боске, – она позволяет мне наиболее полно выразить себя. Но когда кто-то заявляет: «Я – поэт», я всегда испытываю неловкость. По-настоящему большие поэты никогда не называют так себя. . . »

А вот что он говорил о своих прозаических произведениях: «Мои романы – это свидетельства очевидца. Возможно, это прозвучит высокопарно, но для меня они – средство борьбы с моим веком, с невежеством, ленью и ложью».

Всего несколько месяцев не дожидаясь выхода на русском языке «Русской матери» – своего самого сокровенного романа, романа о времени и о себе, за который он получил «Гран При» Французской академии. Весной 1998 года писатель умер.

Проза Алена Боске, которая была переведена при его жизни на девятнадцать языков, наконец-то увидела свет и на родине писателя.

Блистательный собеседник и мастер парадоксов, Ален Боске обладал еще одним редким и бесценным даром – даром самоиронии. Над собою он подшучивал с особым удовольствием: «Скажите мне, кто я. Импровизируйте, не стесняйтесь»; «Ну что я за человек: во мне каждый день идет гражданская война»; «Вот бы пожить без самого себя, в свое удовольствие»; «Я – всего лишь запятая, а вы отгадайте текст. . . »

Читателю в нашей стране предстоит отгадать еще очень многое: обширное творческое наследие Алена Боске – это десятки книг стихов и прозы.

*Наталья Попова*